

ДЕДУШКА, GRAND-PÈRE, GRANDFATHER

Воспоминания звуком и цветом,
о дедушках, бабушках и не только,
с винтажными фотографиями
XIX-XX веков



Елена Лаврентьева
Дедушка, Grand-père, Grandfather...
Воспоминания внуков и внучек о
дедушках, знаменитых и не очень, с
винтажными фотографиями XIX – XX веков
Серия «Семейные архивы»

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=4244875

*Дедушка, Grand-père, Grandfather...: Воспоминания внуков и внучек о дедушках, знаменитых и не очень, с винтажными фотографиями XIX-XX веков: Этерна; Москва; 2011
ISBN 978-5-480-00265-2*

Аннотация

Герои этой книги – дедушки. Благодарные внуки с любовью рассказывают о тех, кто подарил им «частичку своего сердца», несмотря на трудную жизнь или гибель в годы войны и репрессий.

«Великая радость» – быть достойными памяти своих дедов.

Содержание

Предисловие	4
Андрей Зенков	6
В. А. Потресов	29
С. А. Долгополова	75
Т. Л. Жданова	85
А. А. Овчинников	108
Н. С. Смирнова	134
Конец ознакомительного фрагмента.	151

Елена Владимировна Лаврентьева

Дедушка, Grand-père, Grandfather...

Воспоминания внуков и внучек

о дедушках, знаменитых

и не очень, с винтажными

фотографиями XIX–XX веков

Предисловие

«...И эту божественную радость никто не отнимет»

Честно говоря, идея этой книги принадлежит не мне, а издательству «Этерна», воодушевленному успехом книги «Бабушка, Grand-mère, Grandmother...». По сей день в редакцию издательства звонят благодарные читатели с вопросом: «А будет ли книга про дедушек?»

Собрать интересные воспоминания и материалы о дедушках оказалось не так просто. У многих моих друзей и знакомых дедушки были убиты на полях сражений, другие погибли в сталинских застенках. И тем не менее...



Из коллекции В. О. Штульмана

Моя замечательная приятельница Светлана Андреевна Долгополова, проработавшая двадцать семь лет главным хранителем в музее-усадьбе Мураново, называет это явление «профессиональной благодатью». Лучше не скажешь! Действительно, стоит только погру-

зиться в какую-то тему – как на тебя, будто из рога изобилия, начинают сыпаться необходимые знания, нужные книги, интересные собеседники, невероятные факты, совпадения, маршруты...

Так случилось со мной и в этот раз. Благодарю всех, кто откликнулся, кто согласился поделиться сокровенным, кто предоставил семейные архивы и альбомы, кто познакомил меня с внуками, достойными памяти своих дедов!

О моем дедушке я расскажу ниже, а сейчас приведу письмо неизвестного деда к внучке, датированное 1916 г., которое я когда-то нашла на блошином рынке в Измайлове:

«Уважаемая раба Божия Татьяна! Поздравляю тебя с днем Ангела. Желая от Господа Бога здоровья и благополучия на многие годы сей жизни: с тем чтобы, проводя настоящую жизнь в бушующем море всевозможных скорбей и печалей, в волнах его, с Божией помощью, в терпении и смирении плыть к тихой пристани и, дай Бог, доплыть по его мудрому промыслу до момента определенного срока и возрадоваться великою радостью, где уже не будет печалей, скорбей и горьких вздыханий, по слову Господа нашего Иисуса Христа, а будет жизнь вечная, блаженная, радостная, и эту божественную радость никто не отнимет. Прославляй Творца день и ночь вовек!

Твой дед. 1916 г.»

Пусть и у нас, на земле, никто не отнимет «эту божественную радость» – память сердца!

Елена Лаврентьева

Андрей Зенков **Человек, остановивший мгновения**

Как прекрасно, когда маленький ребенок тянет за палец седоволосого старца и пищит: «Деда, дед!..» В этой умильной сцене весь смысл жизни, говорим мы, тут и преемственность поколений, и передача опыта, и семейная идиллия...

И как страшно, когда понимаешь: это покрытое морщинами лицо когда-то было (и до сих пор осталось) лицом такого же ребенка, только время исказило его черты! Господи, шепчем мы, не дай мне дожить до глубокой и беспомощной старости! Когда краски жизни тускнеют, душевные порывы уступают место примитивным физиологическим потребностям и на смену острому интересу к миру приходит тупое равнодушие.

Счастлив тот, кто вопреки этой жестокой логике сохранил вкус к жизни, не замутиненное грузом лет восприятие действительности! Кто на склоне лет не согнулся, не стал в душе *стариком*, но и не впал в детство, а остался мужчиной.

Таким был мой деда Вася, один из основателей нового направления в фотографии – художественного фотопортрета, – профессиональный фотограф Василий Алексеевич Малышев.



Василий Алексеевич Малышев

Хорошая квартира

Мир деда Васи в моих глазах был миром «техногенного будущего». Учась в пятом классе, я еще не знал точно, что такое «техногенное будущее», но, входя в огромную (по меркам стандартных «хрущоб») квартиру на Кутузовском проспекте, понимал – это оно и есть! Треноги, высотой в полтора человеческих роста, с выдвигающимися рукоятками, какими-то поворотными кругами и механизмами для присоединения камер. Мощные штативы и софиты, огромные стеллажи с книгами и еще более огромные экраны для постановочного света. Немыслимые фотоаппараты, в которые надо смотреть сверху, в раскрывающиеся металлическими лепестками окошечки. Невероятные по мощности осветительные приборы-«вспышки» в виде метровых сачков для ловли бабочек. Только «сачки» эти были весом в полкило и по часу заряжались электричеством, стоя на особых подставках... Все это заполняло квартиру в буквальном смысле от пола до потолка. Однажды я улучил момент, когда

деда не было в комнате, снял лампу и нажал на красную кнопку на рукоятке. Убийственная белая вспышка саданула в стоявшее напротив зеркало и отраженным светом ударила меня по глазам. Я ослеп. Не более чем на полминуты, но это навсегда отучило меня нажимать без надобности на красные кнопки и вообще запускать незнакомые механизмы.

В те годы фотография была еще пленочная, в студиях не хватало места, и *картины* (так все называли фотоработы деда) тоже висели и стояли тут же, вдоль стен, пестрым цветным ковром, заменяя обои. Некоторые из них достигали двух-трех квадратных метров, другие были совсем маленькими. И все – исключительно портреты. Ни одного пейзажа или жанровой сцены. Только люди. Их внимательные, строгие, лукавые глаза сопровождали меня повсюду, от них некуда было скрыться, и, насколько помню, именно им я обязан тем, что, гостя у деда, избавился от дурной привычки ковыряния в носу. Молодые и старые, улыбающиеся и сосредоточенные, в деловых костюмах и спортивной форме, в бальных платьях и рабочих спецовках, мужчины, женщины, дети... На одной стене висела фотография, на которую я при взрослых изо всех сил старался не смотреть, но изучил до мельчайших подробностей. Обнаженная девушка кокетливо покусывает тонкий указательный палец правой руки, левая заведена за спину. Смешение розовых тонов на бледно-лимонном фоне создавало, как я понял десятилетия спустя, ощущение свежести, чистоты, даже какой-то детскости. Особенно красноватая «гармошка» следа от трусиков чуть пониже пупка... Напомню, тогда, в начале 1970-х, в стране не только «не было секса» или эротики, но сама постановка вопроса таила угрозу карьерных неприятностей. Ни на одной выставке, ни в одном альбоме эта картина, само собой, никогда не появлялась. Но дом деда был его крепостью, точнее, его фотостудией, где он, подобно булгаковскому Филиппу Филипповичу, мог делать все, что ему заблагорассудится.

Как известно, советская власть не признавала авторитета денег. Когда в середине 1970-х годов во время очередного визита в Москву президент Финляндии Урхо Кекконен захотел приобрести понравившуюся ему картину деда «Москвичка» (цветную фотографию лаборантки Марины Пахоменко) за 1000 долларов – руководство АПН просто подарило ему эту работу, даже не поставив в известность самого автора.



Галина Уланова, 1955

Но авторитет *блата* был общепризнан. Применительно к творческим людям это можно назвать мягче – авторитетом связей, знакомств. За шесть с лишним десятилетий активной работы фотожурналистом и фотопортретистом дед снял многие сотни известнейших людей, десятки знаменитостей: Алексей Толстой и Надежда Обухова, Галина Уланова и Петр Капица, Викентий Вересаев и Георгий Жуков, Юрий Гагарин и патриарх Пимен, Фидель Кастро и Гарри Каспаров... Я беру имена из каталогов выставок, наугад, и список стремительно разрастается: политики и художники, военные и артисты, жены министров и дети членов политбюро... При этом большинство из них снимались тут же, в квартире-студии, где дед жил со второй женой, молодой певицей театра Станиславского Людмилой Бондаренко. Видели там прекрасный творческий беспорядок, так мало вяжущийся с растиражированным обликом советского журналиста, и воспринимали его «с пониманием». (Была у деда еще и коллекция импортных винных бутылок, и коллекция музыкальных брелков, и два говорящих попугая, и английский сеттер, и сотни памятных подарков от зарубежных друзей и коллег, а после очередного юбилея в квартире установилось правило: любой вошедший мог взять фломастер и на свободном клочке обоев написать приветственную реплику или эпиграмму хозяину.)

Но дед не злоупотреблял личными знакомствами в корыстных интересах. Насколько я знаю, «высокими» связями он по-настоящему воспользовался лишь дважды. В первый раз, когда пришлось придумать *правильный* предлог, чтобы НЕ вступить в партию (и при этом остаться выездным и вообще не вылететь с работы). Во второй – когда надо было отмазать меня от почетной обязанности после окончания Пединститута выполнять воинский офицерский долг, в то время как мать с отцом лежали в больнице и мне приходилось их навещать. Не знаю, кто из генералов и маршалов на какие рычаги нажимал и какие телефонные «вертушки» напрягал, но я – единственный со всего потока – так и не отслужил в рядах СА, а дед – единственный из штатных сотрудников АПН – так и не стал коммунистом. Впрочем, был еще один комичный случай, который мы шутя называли «непреднамеренным использованием говорящей фамилии в дорожно-транспортном происшествии».



Патриарх Пимен, 1980

Однажды, еще в 1950-х, дед возвращался со съемок поздно вечером, усталый и голодный. И где-то в Центре по ошибке свернул на улицу с односторонним движением. Его оста-

новил сотрудник ГАИ (судя по всему, такой же усталый и голодный) и злобно предупредил, что сейчас заберет права. Но тут – по словам деда – произошло чудо. Гаишник взглянул на предъявленный документ Малышева В. А. и, взяв под козырек, отчеканил:

– Не извольте беспокоиться... проезжайте!

«Неужели я стал настолько знаменит? – думал дед, торопливо выворачивая на правильную дорогу. – Вот так загадка...»

Пару дней спустя ее разгадали дошлые журналисты АПН, выяснив, что на этой злополучной улочке жил в своей казенной квартире тогдашний зам. пред. Совмина Малышев *Вячеслав Александрович*.

– Вам, Василий Алексеевич, повезло, что на «корочке» имя и отчество значатся лишь первыми буквами, – улыбались коллеги, – теперь при встрече с милицией старайтесь ее пореже раскрывать...

Сначала снимать, потом – стрелять

Между тем в жизни деда Васи бывали моменты, когда проверка документов могла закончиться лишением не автомобильных прав, а самой жизни.

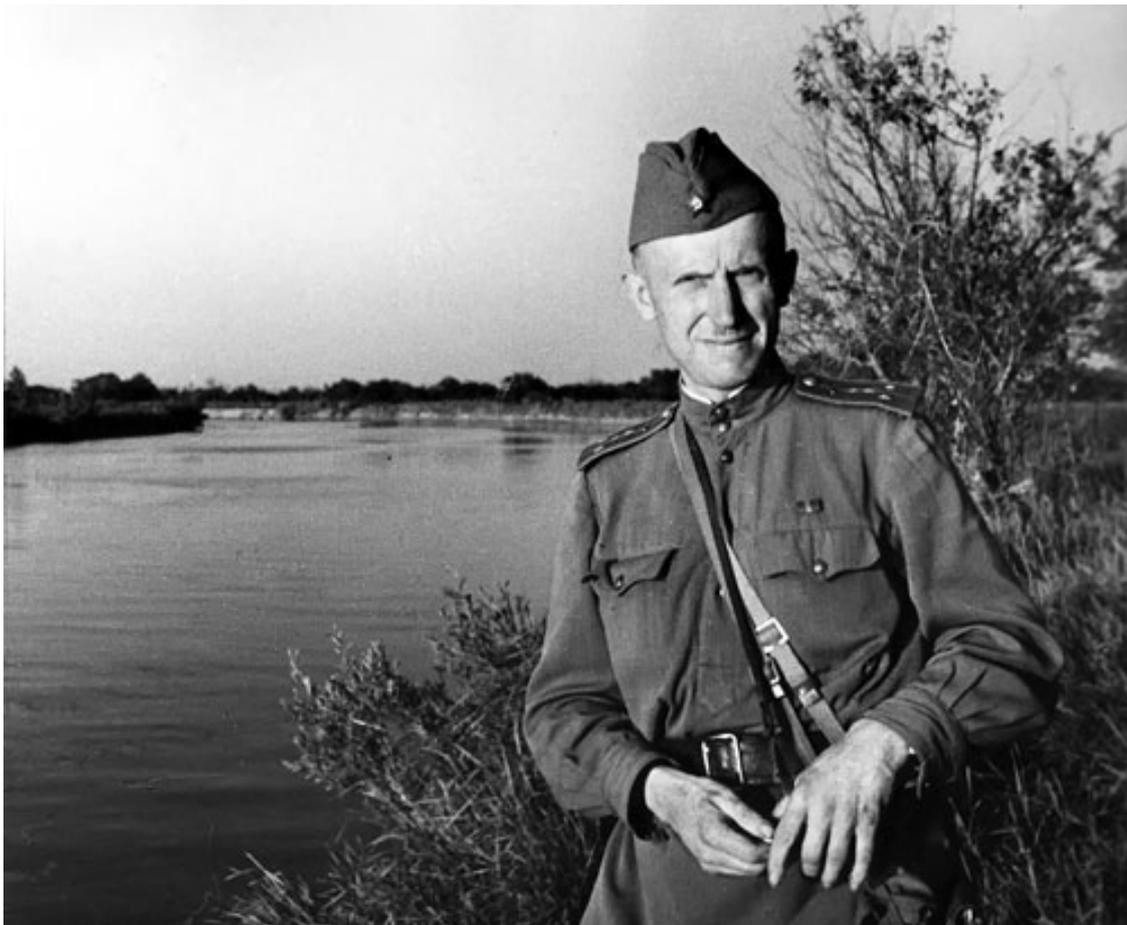
Например, когда в страшной неразберихе Гражданской войны восемнадцатилетний Вася Малышев в составе 1-го артиллерийского дивизиона сражался на Южном фронте с войсками генерала Деникина. На Дону брали верх то белые, то красные. Железнодорожные станции, села, хутора то и дело переходили из рук в руки. Это только в кино у всех красноармейцев на головах буденовки, а у всех белогвардейцев на плечах – золотые погоны. Чтоб зритель различал. Тогда, в 1918-м, отличить «своего» от «чужого» удавалось не сразу, порой лишь по реакции на проверку документов. Наслушавшись дедовских рассказов, я представлял себе это примерно так: двое в пыльных картузах (ватниках) идут по дороге, на степном перекрестке их останавливают двое в таких же запыленных картузах (ватниках) и спрашивают документы. А дальше – либо объятия («Ты как сам, браток?!»), либо – кто первый сдернет с плеча ружье...

Или четверть века спустя, когда военный корреспондент Фотохроники ТАСС Василий Малышев вместе с наступающими частями 3-го Украинского фронта участвовал в освобождении Одессы. Стратегически важный пригород Пересыпь, известный как «ключ к Одессе», стал местом ожесточенных сражений. Получив задание подготовить очередной фотоматериал, Василий Малышев и его тезка и коллега Василий Иванов так увлеклись, что в какой-то момент опередили основные подразделения и оказались в цепи штурмового отряда, атакующего Пересыпь.



В. А. Малышев, 1943

– Десантнику проще, – шутил дед, вспоминая тот эпизод. – У него в руках только автомат. И он знает, что стрелять из этого автомата – его работа. А когда мы с Васей выскочили из машины и побежали вместе с десантом, у нас кроме автоматов в руках были «лейки» (фотокамеры). Можно сказать и иначе: *кроме* фотокамер были *еще* и автоматы. И в чем заключалась наша работа, мы знали совершенно четко: сначала снимать, а потом – стрелять. И снимали, хотя пули ложились и под ноги, и свистели над ухом, и больше всего хотелось отшвырнуть «лейку» и начать строчить из автомата по засевшим за сараями фашистам.



На берегу Днестра, 1943

Они не бросили свои камеры. И отсняли все, как бы мы сейчас сказали, «профессионально», в том числе и разъяренного генерал-лейтенанта В. Цветаева, патрулировавшего только что освобожденные районы.

– Ваши документы!.. Вы что, молодые люди, с ума сошли?! Бой идет, а вы с вашими «лейками» лезете впереди передовых частей! – процитировал слова генерала дед в своих мемуарах, опубликованных в 1985 году.

– Что-то уж больно красиво он сказал, – засомневался я, прочитав книгу и обсуждая ее с дедом. – Может, фамилия обязывает?

– Если бы ты слышал, ЧТО он нам проорал сквозь близкие еще автоматные очереди и разрывы гранат, – усмехнулся дед. – Но потом понял, что его ребята выполняли свою работу, а мы – свою. И даже помог довести дело до конца – нашел место в самолете, чтобы срочно доставить негативы в штаб фронта.

И еще как минимум дважды жизнь деда висела на волоске. И уже никак не зависела ни от каких документов и удостоверений.

– Сначала во время «моей первой поездки в Румынию», – шутил дед Вася. – В 1944-м я получил очередное задание – сфотографировать состояние взлетнопосадочной полосы аэропорта городка Галаци, куда должны были садиться наши транспортные самолеты. На небольшом, но мощном штурмовике Ил-2 мы вдвоем с пилотом благополучно пересекли государственную границу, приземлились в Румынии, отсняли что надо... Но на обратном пути нас сначала накрыли огнем немецкие зенитки, а потом атаковали немецкие истребители. Вот тут у меня выбора не было: по команде пилота я развернул турельный пулемет в хвостовой части и открыл огонь.

– И попал?!

– Не знаю... я ведь никогда до этого из пулемета не стрелял, тем более в воздухе. Помню только, что пилот выжал максимальную скорость (около 550 км в час), нырнул за одно облако, потом за второе, и нам удалось оторваться. А когда приземлились, насчитали пять или шесть пробоин, в том числе в баке с горючим!



Перед вылетом в Румынию, 1943. П. А. Малышев – слева

После войны, начиная с середины 1960-х, дед много раз бывал в заграничных командировках, и не только в Европе, но и в Африке. И вот где-то то ли в Йемене, то ли в Алжире его импозантная внешность и дорогая фотокамера привлекли внимание припортовых аборигенов. В те годы Африку лихорадило. Одни европейцы уходили, теснимые народно-революционными армиями изголодавшихся по власти местных царьков. Им на смену спешили новые, часто просоветские «команды», для них СССР был как «большой брат», который если не вступится в открытую, так уж точно погрозит пудовым кулаком. Но деда приняли сначала за француза, а потом, когда он попытался объясниться на ломаном английском, – за американца. Ни те, ни другие в этой точке земного шара популярны не были.



Автопортрет, 1967

– Меня окружила агрессивно настроенная толпа, человек в тридцать, – вспоминал деда Вася. – Они что-то кричали на своем родном языке, махали кулаками, и кое-кто уже нагибался за камнем. Момент был критический. Я знал, что, пока не брошен первый камень, библейское чувство справедливости сдерживает любую толпу. Но сразу после первого броска толпа неуправляема. Меня просто растерзают, прикончат за минуту, и никакая полиция не успеет.

Дед был человек интеллигентный. Общение с артистами, учеными и высокопоставленными политиками разных стран привило ему даже некие аристократические манеры. Плавные, всегда спокойные жесты белых, холеных рук, глубокий, вдумчивый взгляд, мягкий и негромкий голос... Ни разу не видел я деда разгневанным, тем более грубым. Но в тот момент, по его словам, он вспомнил и погромы Гражданской, и бои Великой Отечественной, вспомнил десять лет, проведенных на приполярном Севере в составе Якутской экспедиции Комитета Севера ВЦИКа, когда он бок о бок работал с людьми грубыми, часто с уголовным прошлым. Вспомнил – и послал пораженных аборигенов отборным четырнадцатизнарядным матом!

– Первым меня понял какой-то толстый мавр, эдакий Отелло, по сравнению с которым я действительно ощущал себя беспомощной Дездемоной! – смеялся дед, а мне, уже подростку, было совсем не до смеха. – Помню, он закричал что-то вроде «Русико!.. русика!..»

или что-то в этом роде, и несколько человек подхватили это магическое слово. Меня отпустили, похлопали по плечу и даже указали дорогу к отелю. Все-таки наша брань не менее надежна, чем наша броня, – привез он в Москву новый каламбур, который был некоторое время популярен в тогдашних журналистских кругах.

Это осталось за кадром

Студийная, станковая фотография с тщательно подобранными красками и тонко проработанным световым фоном – это фирменный конек Василия Алексеевича Малышева. Заслуженного работника культуры РСФСР, лауреата золотой медали и премии Союза журналистов СССР, кавалера многих боевых и почетных орденов и медалей. Это сейчас обработать (а чаще – исказить) цифровую фотографию может любой пользователь компьютерной программы Photoshop. А тогда, в начале 1970-х, фотопортретистов часто упрекали в подражательстве живописцам. Всемирный авторитет французского фотодокументалиста Анри Картье-Брессона, отрицавшего кадрирование при печати и провозгласившего принцип «абсолютной достоверности жизненного факта», был признан и в советской фотожурналистике. Малышев встречался с Анри Брессоном и даже обсуждал с ним право фотографа на собственный творческий метод. Себя же дед всегда считал учеником Моисея Наппельбаума и Николая Свищова-Паолы.

– Объективное изображение внутреннего мира человека через собственное субъективное восприятие, – втолковывал мне дед. Но это было для меня еще слишком сложно.

И тогда дед начинал рассказывать. Нет, он не откровенничал, не выдавал «подсмотренные через объектив» тайны чужой жизни. Скорее он учил меня, опосредованно, подспудно, умению чувствовать другого человека.

– Я спускаю затвор в тот момент, когда понимаю, что почувствовал объект съемки, – говорил дед. – Иногда это происходит почти мгновенно, чаще приходится ждать, настраивать человека или, наоборот, отвлекать, избавлять от скованности.



Я с дедом, Москва, 1969

– Виктор Шкловский, когда я приехал к нему на квартиру для съемок, с самого начала был напряжен, неосознанно пытался позировать, принимать нарочитые позы, ждал щелчка затвора... И тогда я сделал вид, что в аппаратуре что-то разладилось. «Одну минуточку, извините, Виктор Борисович, – бормотал я, бессмысленно вращая регулировку диафрагмы на своем «хассельблате». – Камера эта сложная, в ней много всего... для писателей непонятного. Ввести в заблуждение было нетрудно. Вращаю, а краем глаза вижу: расслабился Шкловский, дух перевел. И вдруг уселся в кресло, в самой что ни на есть удобной позе! Видимо, он часто так садился. Я тут же спустил затвор. Но штука в том, что почти все мои портреты до этого выполнялись в вертикальной композиции. А тут – понятно, что придется делать горизонтальный кадр.

– И как же ты, деда, вышел из положения? Лег на бок?

– Да нет, так и снимал его, как он сидел. Получилось очень неплохо. И между прочим, многие писатели, которых я снимал, лучше смотрелись именно в горизонтальной плоскости. Толстой за своим рабочим столом под лампой-канделябром, Вересаев на фоне книжных полок, Антокольский с книгами и статуэткой фавна...

– Ты всегда снимаешь один на один со своим объектом? – спросил я. – Это действительно священнодействие, без посторонних?

– Как правило, один. Но на периферии помещения могут находиться помощники, которые отвечают за фоновый свет. Их не видно, но без них работа может и не получиться. Ну а порой приходится специально нарушать тет-а-тет, все с той же целью: раскрыть образ моего персонажа.

И дед рассказал еще две истории. Знаменитый актер и режиссер Михаил Яншин, всегда веселый и общительный по жизни, в момент съемки ступевался: напрягся, стал готовиться, поправлять галстук, в общем, на глазах превращался из творческой личности в официального театрального деятеля. Не таким видел и ощущал его мой дед, хорошо знавший Яншина и до этого. Обмануть артиста, много и часто снимавшегося в кино, при помощи трюка с аппаратурой невозможно. И дед нарушает свое правило и как бы невзначай приглашает в комнату свою молодую жену.

– Семидесятидвухлетний Яншин встрепенулся, заулыбался, приосанился. А когда узнал, что Ляля – артистка Музыкального театра имени Станиславского, и вовсе расцвел. Они заговорили о ролях, о режиссерах, о гастролях... Яншин снова стал самим собой. Мне оставалось лишь начать снимать.



Михаил Яншин, 1974

Прямо противоположная ситуация сложилась на съемках ученого-физика Дмитрия Блохинцева, приехавшего к деду вместе со своей супругой. Энергичный, высокий, загорелый, в спортивной куртке, выдающийся советский ядерщик, казалось, был весь как на ладони. Он засыпал деда рассказами о своих многочисленных хобби, зарубежных поездках, даже читал свои стихи.

– Казалось, можно начинать снимать. Но каким-то шестым чувством я угадывал за всем этим не то чтобы бравату, но недоговоренность. В душе этого, как принято говорить, «социально активного» человека таилось что-то глубоко личное, какие-то иные чувства, в которые он не собирался меня посвящать. Время шло... Он непринужденно болтал, я поддерживал тон, но все еще выжидал.

И тут в студию заглянула жена Блохинцева, видимо, поинтересоваться, скоро ли мужчины «освободятся».

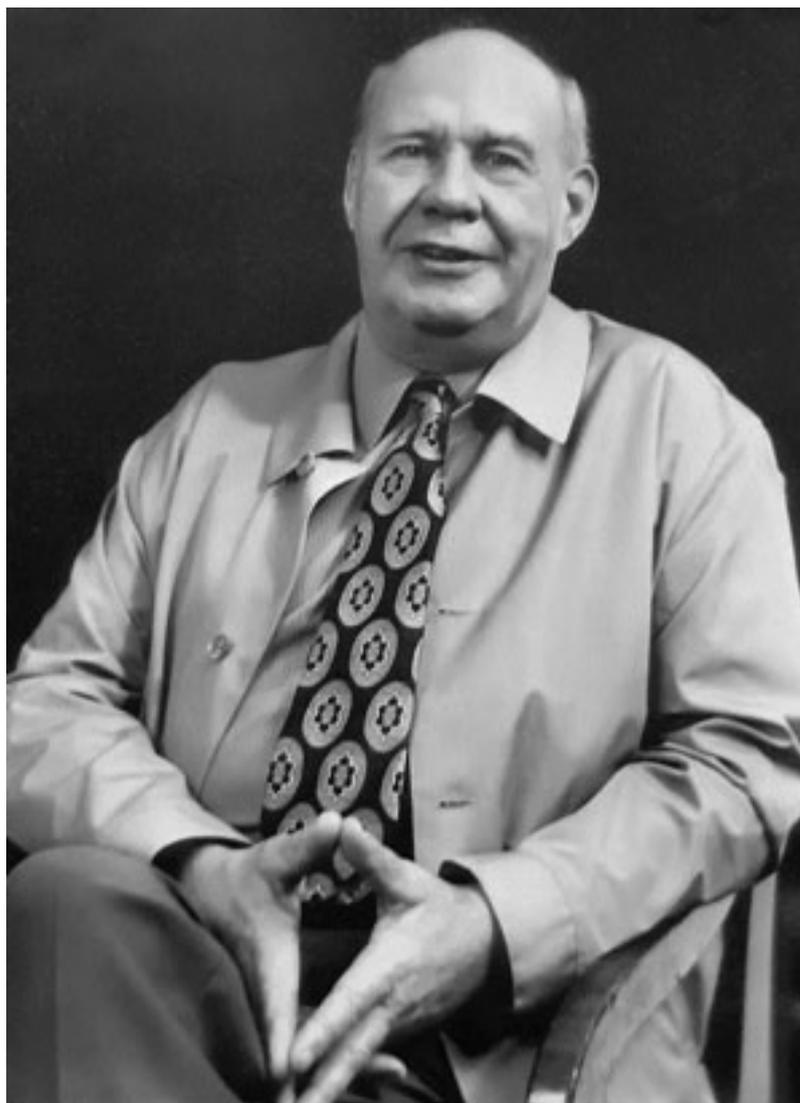
– Ты читал «Доктора Живаго»? – вдруг спросил меня деда Вася.

– Читал.

– Помнишь то место, в конце второй части, где молодой Юра перехватывает обмен взглядами между Ларисой и Комаровским? Великолепно прочувствованная и описанная Пастернаком сцена!

Дед задумался. А потом сказал:

– Когда он *так* на нее посмотрел, я понял, *что* для него дороже всех поездок, стихов, а может быть, и управляемых ядерных частиц. Я спустил затвор. И все потом говорили, что получился портрет ученого, влюбленного в свою работу. На самом деле я снял мужчину, влюбленного в свою жену.



Дмитрий Блохинцев, 1973

Любовь, в том или ином ее проявлении, дед снимал много раз. Счастливую и одновременно страдающую Марину Влади накануне ее свадьбы с Владимиром Высоцким. Великолепных Екатерину Максимову и Владимира Васильева на пике их творческой карьеры. Влюбленную в своих темпераментных поклонников испанскую танцовщицу Кэти Клавихо...

И лишь однажды он заснял ненависть. Холодную и откровенную. Такой, какой ей и полагается быть. Октябрь 1946 года. Последние заседания Нюрнбергского процесса. Из всего журналистского пула на них допускались лишь двое – от каждой страны-победительницы. Одним из них был мой дед.

– «Зал 600» был по нынешним меркам не такой уж и большой, – рассказывал он. – И все равно от нас до скамьи подсудимых метров 8 – 10. Но ведь у меня в руках камера с мощным увеличением! Возможно, я был единственным человеком в зале, кто мог увидеть лица фашистских главарей вплотную, глаза в глаза! Я приближал, отдалял их лица, искал верный ракурс и, как всегда, старался понять – нет, не суть этих людей (она таилась слишком глубоко, и ее затмевал элементарный страх возмездия), но хотя бы психологическое состояние каждого подсудимого.

Заместитель Гитлера по руководству партией Рудольф Гесс. Зябко кутается в плед, нервничает, бегающий взгляд, скрытая паника.

Начальник штаба Верховного главнокомандования вооруженными силами Германии фельдмаршал Вильгельм Кейтель. Безупречная военная выправка, твердый взгляд, уверенность в том, что свой долг офицера он выполнил до конца. Начальник штаба оперативного руководства Верховного командования вермахта генерал Альфред Йодль – страшно нервничает и старается быть максимально предупредительным с трибуналом. Когда к нему обращаются, мгновенно вскакивает и застывает «навытяжку». Надеется, что пощадят. Главнокомандующий военно-воздушными силами Германии Герман Геринг. Ссылаясь на большие глаза, сидит в темных очках. Его распирает бешеная злоба и изумление: как получилось, что он, еще вчера почти всесильный, купающийся в роскоши рейхсмаршал, сегодня вынужден оправдываться и слушать страшный приговор.



На Нюрнбергском процессе, 1945-1946

Начальник Главного управления имперской безопасности СС обергруппенфюрер Эрнст Кальтенбруннер. По лошадиному длинное, холодное лицо со шрамами. Полное пренебрежение к происходящему. Думаю, он уже простился с этим миром. Приговор слушает бесстрастно, потом вдруг странно улыбается и отвечает залу короткий поклон. И мне кажется, я понимаю этого страшного человека. Он, как и Кейтель, не раскаивается в содеянном. Но Кейтель – классический тип германского вояки, а Кальтенбруннер – убежденный палач и садист. И мы для него – даже не противники, а что-то вроде кусачих муравьев, волею судьбы взявших верх.

И еще, глядя на этих людей, я понимаю, что, если бы верх взяли *они*, – Кальтенбруннер превратил бы весь мир в Бухенвальд и Освенцим. И отвесил бы вслед умирающему человечеству такой же ироничный поклон.

Черный кофе, красная клубника и желтый подсолнух

– Умение различать цвета – величайший дар природы человеку, – говорил дед. – Это умение дано каждому, но нужно еще научиться различать оттенки. И уметь смешивать и сами цвета, и их оттенки. Знаешь, красный входит в тройку основных, зеленый – это смесь желтого и синего? И любой цвет спектра может стать белым или черным, в зависимости от яркости.

Этот разговор происходил летом 1974 года, накануне удивительного в моей пятнадцатилетней жизни события: дед уезжал в недельную командировку на Украину и впервые брал меня с собой.

– Будем много переезжать, снимать самых разных людей. Мне нужен помощник! – объяснял он моим родителям. На самом деле помощник у него был – молодой фотокорреспондент Володя Вяткин, считавший деда своим учителем. Володя только что отслужил в армии, был крепким двадцатитрехлетним парнем и без труда перетаскал бы за дедом всю его аппаратуру. Думаю, дед просто хотел чуть-чуть меня «профориентировать».

Честно говоря, редкие посещения его невероятной квартиры-студии на Кутузовском сформировали у меня несколько искаженное представление о журналистике вообще и фотожурналистике в частности. Мы скучали друг по другу, и, когда я приезжал, дед как мог старался отложить работу, порой даже переносил съемки, и мы веселились вовсю. По сравнению с восьмичасовым рабочим днем отца и матери по пять раз в неделю, его работа иногда вообще рисовалась мне эдаким произвольным творческим полетом под лозунгом «когда захочу – тогда и сделаю». Картину дополняла полная гастрономическая рассеянность деда Васи: в его доме часто не было хлеба, но всегда стояли распечатанные коробки с шоколадными конфетами и пирожными, могло не оказаться молока, но в баре теснились самые изысканные по тем временам вина и более крепкие напитки. Богема, да и только!



В поездке

И вот я увидел деда за работой. И какой работой! Не по восемь и не по десять часов, а буквально от восхода до заката мы мотались на машине по каким-то частным и казенным квартирам, студиям, городским и поселковым комитетам, договаривались о съемках, размечали маршруты на следующий день, отвечали на тысячи вопросов о Москве, Агентстве печати «Новости» (где дед работал все эти долгие годы), о новинках в области фотоаппаратуры, о различных методах съемки... И снимали, снимали, снимали! Все это, конечно, делали дед и Володя, я же честно таскал не слишком тяжелые штативы и к концу дня мечтал лишь об одном – добраться до очередной роскошной гостиничной кровати (принимали нас по первому разряду) и на пять часов провалиться в сон. Томный и богемный семидесятичетырехлетний дед Вася на поверку отказался тугой стальной пружиной в мягкой оболочке своих утонченных манер, которые не мешали ему, когда не оставалось времени на ресторан, вооружиться алюминиевой ложкой и хлебать сомнительное харчо в придорожной столовке. Или найти общий язык с работягами какого-то отдаленного колхоза, поначалу настроенных не очень доброжелательно к «столичной птичке» в неизменном французском берете набекрень.

– Вы делаете свою работу, мы – свою, – пояснил им дед. – Вот тебе, хлопец, наверное, удобно в свои широкие карманы прятать горилку? А мне мой берет череп от солнца прикрывает. Дед театральным жестом приподнял берет, обнажив розовую лысину. Вокруг захохотали, и инцидент был исчерпан.

А о свойстве некоторых цветов и оттенков у меня в той поездке остались свои, субъективные воспоминания.

В квартире народного художника СССР Василия Бородая мне поручили ответственное дело: держать в наклонном положении специальный зонтик, в который должна была выстрелить печально знакомая мне осветительная лампа. По задумке деда, только такой отраженный свет правильно подсветит с задней стороны золотисто-красные витражи. На их фоне пожелал сниматься их автор – Василий Бородай. Я с блеском выполнил свою работу и потом много лет показывал родным и знакомым дедовскую картину, приговаривая: «А вот там стою я и держу зонтик».

В знак признания художник угостил нас какими-то сладостями с черным кофе. По тогдашней моде он был не просто черный, но еще и без сахара. И, в духе хлебосольных украинских традиций, от всего сердца налил его не в маленькие кофейные чашечки, а в увесистые трехсотграммовые кружки.

Надо признаться, дома мы кофе вообще не пили. Изредка я пробовал хорошо разбавленный молоком сладкий напиток, который пила бабушка, «опасаясь давления». Но был я при этом очень послушным и тактичным мальчиком.

– Ешь там все, что дадут, – напутствовала меня мама перед поездкой. – Не привередничай. А то будет стыдно.



Василий Бородай, 1974

Чтобы «не было стыдно», я мучительно честно выпил крепчайший кофе по-турецки в украинской таре. До самого дна. (Думаю, мне было бы легче выпить пузырек черных чернил.) И впал в странный полуобморочный транс. Но надо было ехать дальше. Нас уже ждала у себя на квартире артистка Ада Роговцева, героиня моих любимых в то время фильмов «Салют, Мария!» и «Укрощение огня».

Я держался как мог. Увлеченные разговором с Бородаем и прошедшими съемками, ни дед, ни Володя Вяткин не замечали моего состояния. Но Ада Роговцева заметила. Она выпорхнула нам навстречу в ярком цветном платье, как настоящая райская птица. И тотчас присела и заглянула мне в лицо.

- Вы такой бледный, – сказала она. – Все ли в порядке?
- И в самом деле, – спохватился дед. – Устал, наверное?
- Слишком много выпил... кофе, – с трудом ворочая языком, пробормотал я, конфузясь.
- Да! – подтвердил Володя. – С кофе он там действительно переборщил.

Ада мгновенно порхнула куда-то вглубь квартиры и тут же вручила мне чашку со свежепротертой с сахаром клубникой.

– Я как раз делала заготовки, – сказала она. – думаю, это поможет.

От клубники исходил блаженный аромат свежести. Я ел клубнику и чувствовал, как кофейная пелена спадает с глаз. Мне и раньше нравилась Ада Роговцева, но с тех пор я полюбил ее как свою спасительницу. Ее... и протертую клубнику.

А потом был ночной переезд в уже упоминавшийся отдаленный колхоз. Помню черную-черную южную ночь, какого-то странного провожатого, сидевшего рядом с дедом и время от времени на всю кабину запевавшего популярные оперные арии. И режущие глаз огни встречных машин.

– Как они спят! – недовольно пробормотал дед. – Нет чтобы притушить как полагается...

– А давайте пару раз включим нашу «волшебную лампу»! – предложил я, все еще ощущая прилив сил после клубники.

– Что ты! – испугался дед.

А Володя задумчиво добавил:

– На такой скорости и на такой дороге это – настоящее оружие. Собьет в кювет только так!



Галина Бойко, 1974

В колхозе дед должен был снять доярку на лоне природы. Предполагалось, что это будет собирательный образ молодой украинской девушки-красавицы. Вместо этого, по указанию обкома или крайкома, нам представили почетную доярку края, передовицу и ударницу Галину Бойко. Была она дородная и добродушная. И не девушка, а бабушка.

Дед сначала даже растерялся, но потом повел ее в сады-огороды, повертел под солнечными лучами влево-вправо, о чем-то пошептался с председателем колхоза... И сегодня с

картины на нас глядит веселая и совсем даже не старая, а мудрая молочница в красно-белом национальном сарафане и красном платке на фоне красных полевых маков. Картина стала настоящей удачей и, как мне кажется, даже пахнет парным молоком!

Доярка подарила мне на прощание огромный, величиной с таз, подсолнух. Подсолнухи я видел только в кино и принял подарок с благоговением.

Мы вернулись в Киев, и я, желая получше сохранить чудо-цветок, вынес его на ночь на балкон нашего гостиничного номера. Рано утром нас разбудил птичий концерт: чирикали воробьи, чирикали дружно и оживленно. И было их, судя по голосам, великое множество.

Я вышел на балкон и вместо правильного диска подсолнуха увидел безобразно расклеванный остов, больше похожий на кашу. Это был удар. Я так хотел привести домой настоящий сувенир с украинского поля! Но мудрый дед и тут сумел найти нужные слова:

– Стихия всегда требует жертв! – сказал он. – Греки бросали в море бочки с оливковым маслом. Испанцы швыряли в океан пригоршни золотых монет. В Карфагене, прежде чем пересечь пустыню, и вовсе резали людей. Мы славно поработали, много повидали... Будем считать твой подсолнух нашим совместным жертвоприношением этой поездке.

И я, конечно, сразу утешился.

* * *

Вот уже почти четверть века деда Васи нет с нами.

Ушли из жизни большинство персонажей его картин, тускнеют и портятся и сами работы – даже лучшие фотокраски бессильны против времени. Быть может, где-то в архивах РИА «Новости» (бывшего АПН) хранятся малышевские негативы. Да только кому они нужны в век цифровой фотографии... Так есть ли смысл в жизни, если спустя всего два-три десятка лет о нас помнят разве что наши стареющие внуки и некоторые пожилые ученики? Несомненно! Только не стоит измерять его объемы количеством фоторабот или числом написанных строк (равно как и в декалитрах надоенного молока или тоннах добытого угля).

Почти весь XX век мой дед служил Красоте, извлекал ее из новых и новых лиц, находил в каждом новом персонаже. Но когда я сегодня думаю о нем, я вспоминаю не его картины или рассказы, а лица людей в момент духовного взаимопонимания, возникавшего при общении с дедом.



Я с дедом на даче, 1961

– Великолепно! – говорил он, вглядываясь в эти лица своими цепкими глазами. И я видел, как уставшие после дороги путешественники отдыхали в кресле, посреди дедовской комнаты-студии. Как замученные болезнями пациенты вдруг сбрасывали с себя груз болячек и смотрели в дедовскую камеру иным, просветленным взглядом. Как улыбались грустные, как смягчались скептики. Порой это преображение длилось считанные минуты, ровно столько, сколько шла съемка. Но если человек даже на мгновение поверит, что он прекрасен, жизнь покажется ему чуточку легче, а выбранный путь – понятнее.

Дарить людям радость – что может быть банальнее? Но есть ли в этом мире подарки дороже?



С дедом в Парке культуры и отдыха им. М. Горького, 1970

Нет, я не стал фотокорреспондентом, как, наверное, мечтал дед. Моим призванием стала радиожурналистика. Вот уже двадцать лет я работаю на «Радио России», и говорить мне нравится больше, чем изображать, а рассказывать – больше, чем показывать. Возможно, в недалеком будущем я сам стану дедом, и крохотный внук сначала ухватит меня за палец, а лет через десять ужаснется: «И я стану таким... сморщенным, как ты?!»

Но я не стану читать ему морали или учить философии. Я постараюсь обыграть его в шахматы, затаскать по выставкам и вернисажам, замучить поездками по стране и миру, научить его любить этот мир и понимать людей, которые его населяют. Так, как учил меня дед.

В моей квартире висит несколько его картин. На них он сам, мои родители и я – в «нежном» грудном возрасте. Когда-то этот толстощекий малыш глядел на посетителей персональных дедовских выставок со стен Манежа, Дома журналистов, Дома дружбы с зарубежными странами...

Сегодня мой черед напомнить читателям о том, кем был мой дед, Василий Алексеевич Малышев.

В. А. Потресов

Из беженских скитаний Сергея Яблоновского

Я никогда не видел своего деда, не сидел у него на коленях, не дергал за бороду. Хотя, когда в конце 1953 года его не стало, я учился в первом классе 110-й московской мужской средней школы. Вот в том-то и дело: я ходил в московскую школу, а дед умер в Париже – в тот последний год сталинского правления расстояние между этими столицами было больше, чем от Земли до Марса.

О моем деде, Сергее Викторовиче Потресове, более известном в театральных и литературных кругах России до революции как Сергей Яблоновский, мне рассказывал отец. Иной раз, прогуливаясь по Москве, мы останавливались перед нестарым тогда еще домом в стиле модерн, скажем на углу Среднего и Малого Николопесковских или Петровки и Столешникова (дед, оказывается, любил менять жилье), и, показывая на окна в бельэтаже, рассказывал, сколько семья нанимала тут комнат, кто здесь бывал и прочие занятные, но ушедшие в дореволюционное прошлое детали.

Когда в середине пятидесятых в Москве стали появляться люди, казалось бы, навсегда исчезнувшие в тридцать седьмых, я познакомился со своим дядей Володей, братом моего отца: почти двадцать лет он провел в лагерях за то, что встречался с моим дедом в Париже. Когда речь заходила об эмигрантах, которых советская власть по разным причинам прощала, о деде речи не было: видимо, даже в после – сталинское время он представлял большую угрозу для коммунистического режима.

Чем же так насолил дед советской власти, я узнал значительно позже, когда довелось познакомиться с его архивом, обнаруженным за рубежом. Впрочем, я и раньше из эзоповских высказываний взрослых вылавливал информацию о дедовых провинностях перед властью.

И в России, и даже во Франции, где он провел тридцать три эмиграционных года, удавалось обнаружить лишь разрозненные небольшие фонды, как, например, в РГАЛИ, ИНИОНе и еще кое-где. Благодаря счастливому случаю, о котором расскажу позже, найти кое-какие материалы о нем, сохранившиеся рукописи и публикации, удалось в Бахметевском архиве Колумбийского университета в Нью-Йорке (США). Соединив обнаруженные западные архивы, отечественные фонды, по крупницам собранные книги, публикации и то, что чудом сохранили мои родственники, удалось воссоздать образ деда, видеть которого, повторю, мне, увы, не довелось.



С. В. Потресов (Яблоновский), 1910-е годы

Вот тогда я понял, что держу в руках забытое наследие, и возникла идея вернуть отечественной культуре имя моего деда, журналиста, поэта, театрального и литературного критика Сергея Викторовича Потресова, более известного под псевдонимом Сергей Яблоновский [2(15).11.1870, Харьков – 6.12.1953, Париж]. Один из известнейших в начале XX века фельетонистов, соредактор сытинского «Русского слова»¹, самой крупной газеты начала XX века, автор бесчисленных рецензий и статей об актерах и театре, публицист, участник и руководитель московских литературных объединений, Сергей Яблоновский из-за своих убеждений и активных политических действий в 1918 году был приговорен екатеринбургской ЧК

¹ Ежедневная газета, выходила в Москве с 1895-го по 26 ноября (9 декабря) 1917 г. Издатели – А. А. Александров, с 1897 г. И. Д. Сытин. В газете сотрудничали В. М. Дорошевич (с 1902 г. – фактический редактор), А. В. Амфитеатров, П. Д. Боборыкин, В. А. Гиляровский, Вас. И. Немирович-Данченко и др. Газету называли «фабрикой новостей», и критика власти способствовала превращению газеты в одно из самых распространенных изданий России. Тираж к началу 1917 г. составлял 600–800 тыс. экземпляров. После Февральской революции 1917 г. поддерживала Временное правительство, выступала против большевиков. К Октябрьской революции 1917 г. отнеслась враждебно. Закрыта постановлением Московского ВРК. С января по 6 июля 1918 г. выходила под измененными названиями («Новое слово», «Наше слово»). В июле 1918 г. закрыта окончательно.

к расстрелу. Тогда ему удалось бежать на юг России, где он участвовал в Белом движении, а в 1920 году Яблоновский навсегда покинул родину. В эмиграции жил в Париже.

Стоит ли говорить, что власти, которые правили страной с 1917 по 1991 год, сделали все возможное, чтобы имя С. Потресова-Яблоновского, его произведения были навсегда забыты. Надо отдать им должное, властям это удалось довольно успешно, хотя даже в советские годы отдельные произведения опального автора все же публиковались, вероятно, по недосмотру, лени или недостаточной образованности цензоров. Я расскажу об этих редких изданиях.

Не рассуждая о долге перед историей и памятью, мол, почему я взялся за эту работу, приведу простое сравнение. Если представить полотно нашей культуры в виде мозаичного панно, легко заметить, что в нем отсутствуют значительные части, как из-за утраты отдельных кусочков смальты, так и целых фрагментов. Наибольшие потери слоев ощущаются в первой половине XX века. И я решил, что, располагая архивами и определенным литературным опытом, смогу восстановить хотя бы один небольшой кусочек этого полотна, вернув истории отечественной культуры имя деда вместе с трагической историей его жизни и творчества.

Многое из наследия Яблоновского нынче, разумеется, не актуально. Ведь был он в том числе журналистом, газетчиком, однако порой не знаешь, что через столетие откликнется и снова зазвонит в полную силу. Что-то из его писаний потеряно безвозвратно, а что-то не удалось пока обнаружить, как, например, книгу Сергея Яблоновского «Карета прошлого», которая, по дошедшим воспоминаниям автора, была выпущена в свет в Эстонии накануне большевистского вторжения, после чего и издатель, и тираж были уничтожены. Доверяясь упоительной лжи Воланда – «Рукописи не горят», смею надеяться, что где-то сохранились хотя бы гранки «Кареты», небольшую часть из них (с рукописными правками автора) мне удалось разыскать.

Раздумывая о том, как уничтожение культурных слоев сказывается на последующих поколениях, неизбежно вспоминаю фантастический рассказ Рэя Брэдбери. Там герой, оказавшись в доисторическом мире, случайно раздавил бабочку, а вернувшись в реальное время, ужаснулся неотвратимым переменам. В революционные и последующие годы давили вовсе не бабочек, и последствия для культуры мы ощущаем сегодня. Это и есть, пожалуй, то главное, что спровоцировало меня заняться восстановлением памяти о деде. Очень важно, чтобы потомки уничтоженных, репрессированных, распыленных по белу свету деятелей нашей культуры взяли бы за подобное дело. Знаю, кое-кто занимается этим сегодня безо всякой поддержки государства, которое, как известно, интересуется чем угодно, только не сохранением собственной истории и культуры. Но таких людей немного, а кто этого не делает, язык не повернется осудить.

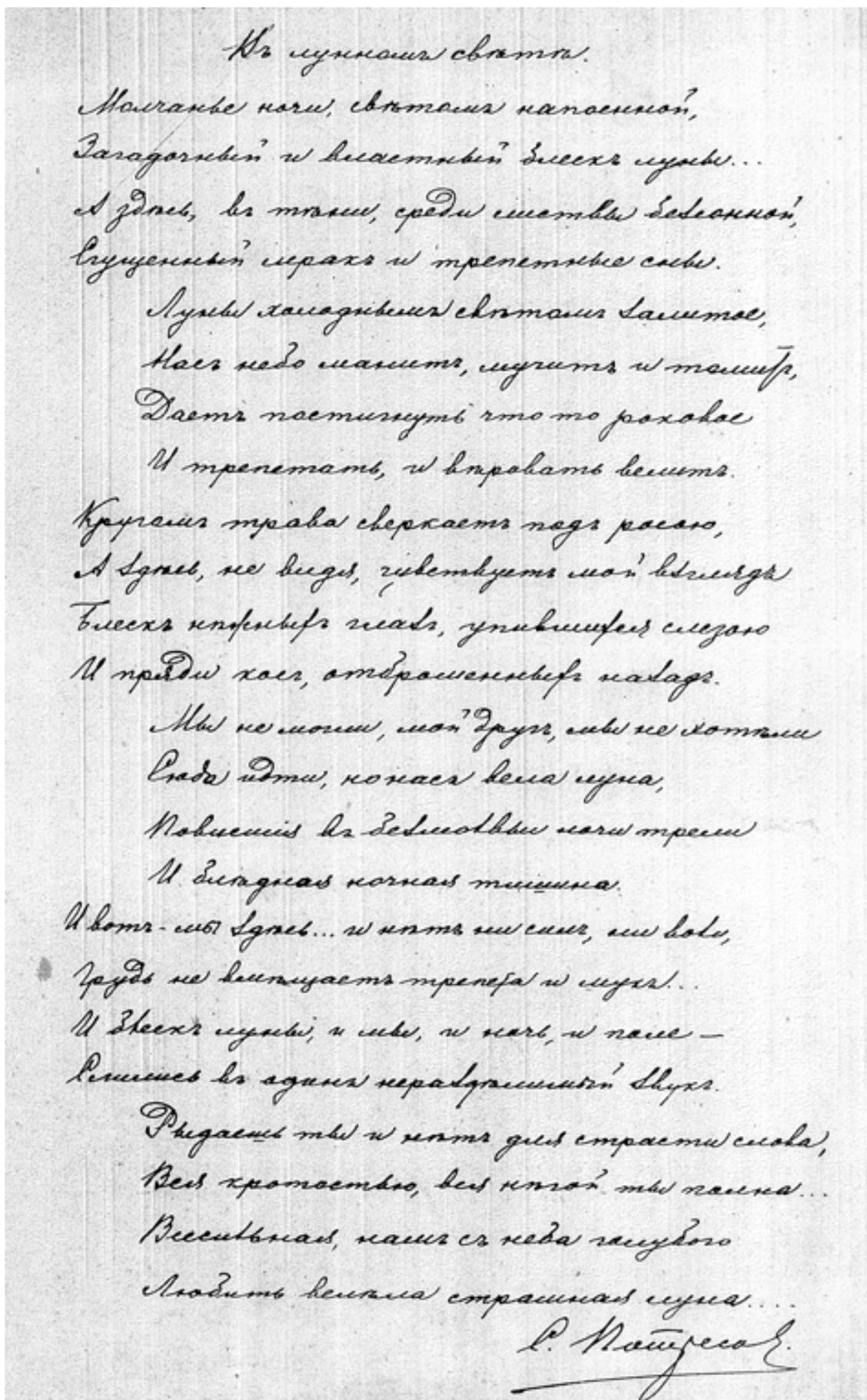
Отсутствие многих документов, вольность в трактовке событий способствуют появлению ошибок не только в отдельных публикациях, связанных с вычеркнутыми из нашей истории лицами, но даже в энциклопедических изданиях. Что касается Яблоновского, то дополнительные проблемы для исследователя связаны с тем, что в отечественной журналистике одновременно фигурировали два человека, использовавшие этот псевдоним. Более того, оба, Сергей Викторович Яблоновский-Потресов и Александр Александрович Яблоновский-Снадзский, родились в один и тот же год и, если доверять сохранившимся источникам, в один день – 15 ноября 1870 года (видимо, отсюда и тянется шлейф путаницы биографий Яблоновских). Оба работали в южнорусских газетах, а затем – в «Русском слове» (по воспоминаниям моей тетки, старшей дочери С. В. Яблоновского, ее отец – до 1916 года, а заменивший его – хитрый трюк редактора Дорошевича! – фельетонист А. А. Яблоновский – с 1916-го).

Оба Яблоновских покинули Россию в феврале 1920 года на пароходе «Саратов» и вместе оказались в британском лагере для военнопленных турок Тель-эль-Кебир в африканской пустыне. У обоих имеются эссе об этих скитаниях. В ноябре 1920 года С. В. Яблоновский выехал в Париж, а А. А. Яблоновский в том же году – в Берлин, но уже с 1925 тоже жил в Париже.

Но и помимо этого ошибок в разных изданиях хватает. Так, в биографическом очерке фонда С. В. Потресова в Бахметевском архиве неверно указано, что родился он в Москве, учился на юриста, а во время революции был арестован большевиками². Кроме того, в ряде документов разных фондов нередко ошибочно указано его отчество – Васильевич. В «Театральной энциклопедии» неверно указаны дата смерти: (ок[<]оло[>] 1929), нелепо звучит: «в 1917 г. эмигрировал из Сов. Союза», а также, что он «окончил историко-филологич. ф-т Моск. ун-та». Последнее, может быть, и имело место, но подтверждающих документов обнаружить мне пока не удалось. В книге «Литературное зарубежье России» неправильно отмечено, что Яблоновский уехал в Париж в апреле 1920 года, а также ему приписаны издания, в которых, в частности, печатался А. А. Яблоновский. Наиболее верно краткая биография С. В. Яблоновского опубликована в книге А. И. Серкова «Русское масонство. 1731–2000 гг. Энциклопедический словарь» (дед был посвящен в ложу Юпитер [Париж] 21 июня 1928 года), но и там есть неточности, скажем дата его смерти ошибочно указана 21 декабря 1953 года, «Саратов» назван теплоходом и т. д.

Не знаю, почему А. Снадзский взял псевдоним Яблоновский, относительно же Сергея Потресова существуют по крайней мере две версии. Из семейных историй мне известно, что дед считал: литературные таланты, которыми снабдил его Господь, почерпнуты не от орловских дворян Потресовых, а от древнего рода князей Яблоновских (его мать, А. К. Яблоновская, по семейному преданию, происходила из этого польского рода, известного помимо фигур военных и государственных значительным числом деятелей культуры и науки). Мол, поэтому дед и взял псевдоним в качестве основного.

² К счастью, последнего не случилось. По воспоминаниям моего отца А. С. Потресова, а также в опубликованных воспоминаниях дяди В. С. Потресова (см. Эдвард Радзинский. «Николай II: жизнь и смерть»: «Матери объявили, что екатеринбургская ЧК заочно приговорила отца к расстрелу за участие в заговоре с целью освобождения Николая II». Если бы С. В. Яблоновского арестовали, его бы немедленно уничтожили. На самом деле ему удалось покинуть Москву с поддельным паспортом на имя Ленчицкого (об этом далее) и бежать на белый юг России.



Стихи С. В. Потресова (Яблоновского) «В лунном свете»

По другой версии, изложенной А. Свирским в романе «История моей жизни», Сергей Яблоновский признался автору, что псевдоним происходит от стихотворения «Яблоня», получившего большое признание после выхода его первого поэтического сборника (под фамилией Потресов).

Значительное число документов, связанных с именем С. В. Яблоновского, хранится в Бахметевском архиве. Пытаясь безуспешно разыскать архив С. В. Яблоновского во Франции, я случайно наткнулся на публикацию в журнале «Знамя», где печаталось до той поры неизвестное письмо В. В. Набокова к С. В. Яблоновскому с указанием места хранения – фонд С. Потресова, Бахметевский архив. Мне удалось практически полностью скопировать этот фонд (а также документы, связанные с Яблоновским в фондах других лиц), вернуть их на родину, а затем перевести в цифровую форму, обеспечив таким образом надежную сохранность. Каким образом документы Яблоновского оказались в США, могу предположить, что в архив, созданный Б. А. Бахметевым³, их передала Н. И. Давыдова (1897–1978), вторая жена С. В. Яблоновского. На момент смерти Яблоновского в США проживали духовник деда и большой его почитатель писатель Гребенщиков, и они вполне могли оказаться посредниками в этом вопросе. Н. И. Давыдова состояла в переписке с обоими, и это подтверждается документами из фонда.

Неясно, правда, каким образом там оказались материалы, датированные годами жизни деда в дореволюционной России. Трудно предположить, что он сохранил их, скитаясь по югу России, египетской пустыне или во время бесконечных переездов с квартиры на квартиру в Париже. Но эти документы в Бахметевском архиве существуют, за что низкий поклон и его основателю, и хранителям.

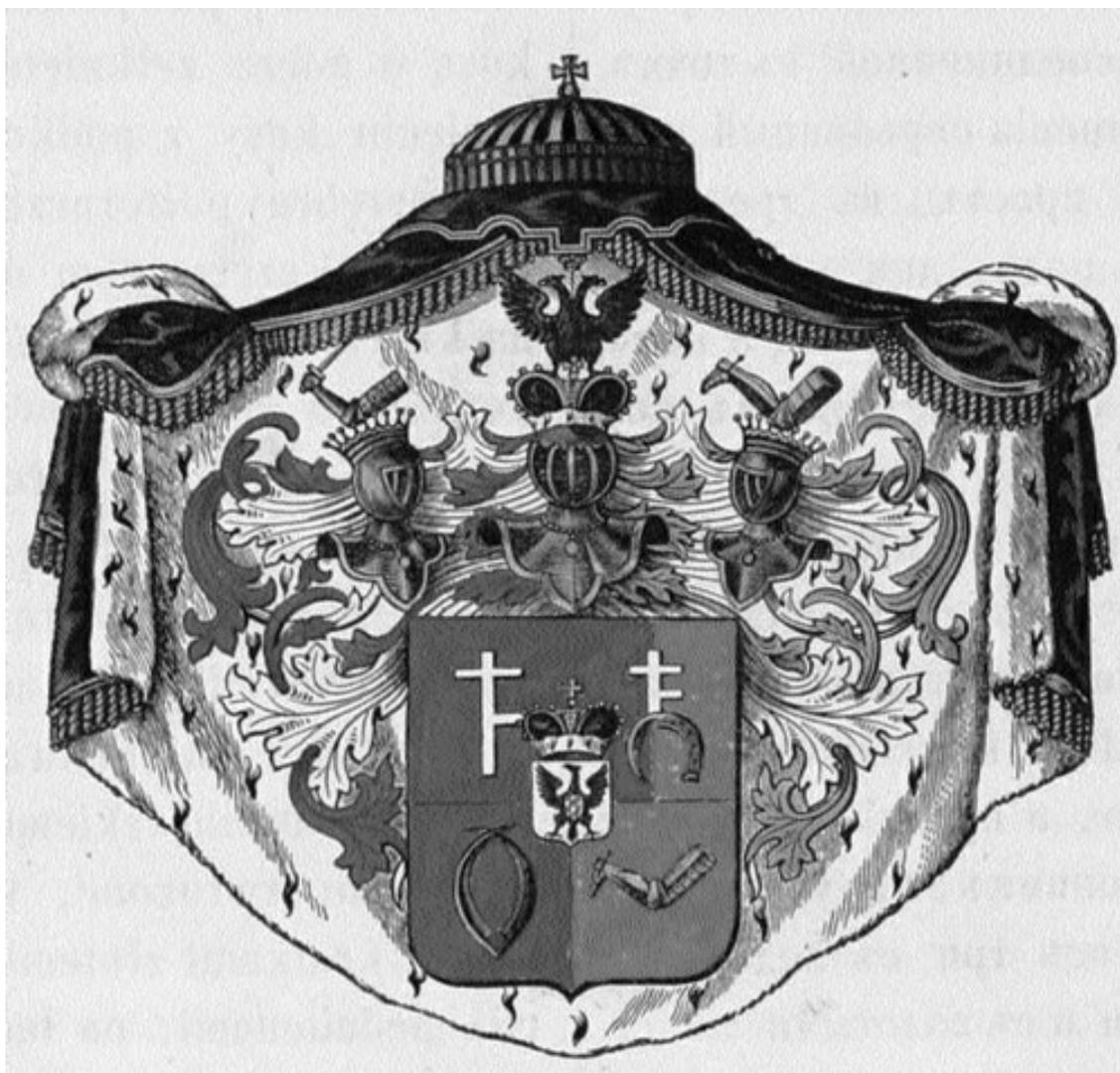
Значительно скромнее на этом фоне выглядят российские (бывшие советские) архивы, в которых удалось обнаружить лишь разрозненные документы С. В. Яблоновского, частично переданные туда его первой женой. Но, по воспоминаниям С. С. Потресовой, многие из них утеряны. Вот что известно о родословной С. В. Потресова-Яблоновского. Его дед Потресов Иван (отчество и годы жизни неизвестны) – потомственный дворянин Орловской губернии, последний в роду помещик. По некоторым сведениям, в Орловской губернии было село Потресово, но найти его не удалось, возможно, оно бесследно уничтожено во время коллективизации или Великой Отечественной войны.

У него были дочь и два сына. Один – Виктор Иванович Потресов, адвокат, присяжный поверенный в Харькове (умер, скорее всего, около 1882 года). Он женился на Адelaide Ксаверьевне Яблоновской, согласно семейным преданиям – последней в малороссийской ветви рода князей Яблоновских. Принять княжеский титул не пожелал (существовал закон: если княжеский род прерывается из-за того, что нет продолжения по мужской линии, то муж-дворянин последней княжны получает право взять фамилию жены и получить княжеский титул). Первый брак А. К. Яблоновской был с Александром Ивановичем Апостол-Кегичем, от которого она имела дочь Елену Александровну, а от второго брака, с Потресовым, были дети: Надежда Викторовна и Сергей Викторович Потресовы. Сестры Яблоновской, Фелиция Ксаверьевна и Конкордия Ксаверьевна, рано умерли. По воспоминаниям С. В. Потре-

³ Бахметев, Борис Александрович (1880–1951) – инженер-гидравлик, выпускник петербургского Института путей сообщения. Под его руководством были разработаны проекты Днепровской и Волховской ГЭС, осуществленные при советской власти. С 1915 г. руководил закупочной комиссией Центрального Военно-промышленного комитета в США. После Февральской революции – товарищ (заместитель) министра промышленности и торговли Временного правительства. С июня 1917 г. – посол в США. После большевистского переворота заявил, что пришедшее правительство не выражает интересов народа России. Сохранил статус посла. После отставки в 1922 г. остался в США. Основатель, директор и главный спонсор Гуманитарного фонда, основатель Фонда помощи русским студентам, а также Архива русской и восточноевропейской истории и культуры в Колумбийском университете, лучшего собрания российских материалов за рубежом, носящего имя Бахметева и до сих пор существующего на доходы от оставленного им капитала.

сова-Яблоновского, известно, что у его матери было имение в Пересечной, рядом с усадьбой актерской династии Рыбаковых.

Елена Александровна (урожденная Апостол-Кегич) вышла замуж за Георгия Павловича Муравьева, из мещан г. Харькова. Надежда Викторовна Потресова вышла замуж за хирурга из Харькова Тринклера.



Герб Яблоновских

Второй сын помещика – Иван Иванович Потресов, писал от имени брата, против его желания, на Высочайшее имя о присвоении княжеского титула. Умер, подавившись зубочисткой, из-за чего Муравьевы, которым он, по воспоминаниям, чем-то досаждал, якобы сказали: «Собаке – собачья смерть».

Их сестра, Мария Ивановна (урожденная и по первому браку Потресова), вышла замуж за родного деда(!). У них родился сын Иосаф, гигант, обладал невероятной физической силой, но умер молодым от гипертрофии сердца. По воспоминаниям моего отца, А. С. Потресова, муж Марии Ивановны скончался через полгода после их женитьбы. Второй брак – за Римским-Корсаковым (более о нем ничего не известно), и тоже полгода. Третий брак с генерал-губернатором Харькова, и тоже недолго – около года. Она прожила три громадных состояния и умерла в приюте для дворян (в 1930–1933 годах приют находился под Харьковом в Хорошевском монастыре), где соседствовала по комнате с Лилей Лермонтовой, двоюродной внучкой М. Ю. Лермонтова. Когда Мария Ивановна умерла, то Лилю задушили

(видимо, надеялись, что от Марии Ивановны остались драгоценности). Мой отец полагал, что деньги в приют за нее вносила племянница Надежда Викторовна.

Увы, начал я интересоваться жизнью С. В. Яблоновского слишком поздно, когда не осталось никого из знавших его, а воспоминания о его детстве слишком скупы, и в них много неясного. Из некоторых источников удалось выяснить, что после смерти отца Сергей почему-то остался не с матерью, а жил в семье друзей отца, Морозовых. Тем не менее С. В. Потресов в своих произведениях вспоминает о матери с большой теплотой и посвящает ей свой первый сборник стихов. Неясно также, где и какое он получил образование, сам Сергей Викторович об этом нигде не писал. Восстановить историю его жизни и творчества удалось с помощью часто отрывочных мемуаров (в основном касающихся деятельности, встреч и т. д.), писем, дневников и воспоминаний связанных с ним людей.

Вот таким образом удалось создать достоверный очерк жизни и трудов моего деда – Сергея Потресова-Яблоновского, Итак:

Харьков. Проба пера и ощущение театра

Согласно фамильному генеалогическому дереву, «наши» Потресовы – потомственные дворяне Орловской губернии, где последним помещиком в роду был Иван <...> Потресов (мой прапрадед). Потресова-Яблоновского нередко путают с А. Н. Потресовым, марксистом, партийная кличка Старовер, также эмигрантом. Из семейных преданий известно, что А. Н. Потресов приходился троюродным братом моего прадеда.



Харьков, Земельное училище

В своих воспоминаниях эмигрантка Ольга Морозова, харьковчанка, знавшая Сергея Потресова с детства, писала: «...отец его, популярный харьковский адвокат, чувствуя приближение смерти, просил своего друга, моего отца (тогда директора харьковского Земледельческого училища), взять к себе его сына Сергея и сделать из него хорошего сельского хозяина. Отец взял. Так в нашей семье появился маленький худенький мальчик с большими черными мечтательными глазами. Ему было тогда 12 лет, но выглядел он не старше восьми».

Сельским хозяином Сергей Потресов не стал, как не стал и адвокатом, хоть, по некоторым непроверенным источникам, поступил на юридический факультет Харьковского университета. С детства он писал стихи, а в выборе жизненного пути сыграла роль, быть может, географическая близость имений его матери и актерской династии Рыбаковых: «Село Пересечное, Харьковской губернии. Ударение следовало бы поставить на слоге “сеч”, от глагола “пересекать”, но все ставят его на “рес” – Пересечное. В нем усадьба с хорошей библиотекой. Это имение... На столбе, стоявшем у ворот, дощечка; на ней значится: “Усадьба купца третьей гильдии Николая Хрисанфовича Рыбакова”. Того самого, который у Островского “сам” смотрел на игру Геннадия Демьяновича Несчастливцева: “Подошел ко мне Рыбаков, положил мне руку на плечо и говорит: “Ты, – говорит, – да я, – говорит, – умрем, – говорит... – Лестно”»». Усадьба Рыбакова – почти наша родовая усадьба. Павлина Герасимовна, жена артиста, Каролина и Антонина Герасимовны, ее сестры, и «сам» он были большими друзьями моей бабки. Каролина, бывшая гувернанткой моей матери, и скончалась в нашем доме. Сын Рыбакова, Костя, впоследствии артист Московского Малого театра, был мало похож на отца темпераментом – мягкий и рыхлый, но лицом походил на него чрезвычайно. В Несчастливцеве он гримировался под отца, и моя мать, увидев его в этой роли, испугалась: она увидела перед собою Николая Хрисанфовича.

<...>

Время поколениями мы тесно связаны с Рыбаковыми и очень часто проводили лето в этой усадьбе. Когда после долгого перерыва я приехал туда уже с женою и детьми, старые крестьянки-хохлушки, обнимая меня, говорили: «Та це-ж наш Сэрежка приехал!»

По собственному признанию, Сергей Яблоновский не любил жанр автобиографии, о его детстве известно крайне немного. В сохранившихся гранках его предисловия к книге «Карета прошлого» он писал, что о его детстве и юности читать никому не интересно, и начал с 1893 года, когда стал постоянным и, возможно, одним из главных сотрудников газеты «Приазовский край», издававшейся в Ростове-на-Дону. «Я писал в этой газете и публицистические статьи, – сообщал Сергей Яблоновский, – и беллетристические рассказы, и лирические стихи, и театральную, а также всякую иную критику».

Работал Сергей Потресов под разными псевдонимами, публике в Харькове особенно полюбился Комар, который часто, как тогда говорилось, на злобу дня писал в рубрике «Свет и тени». Горожане охотно ходили на драму, оперу, оперетту в Асмоловский театр на Таганрогском проспекте или городской театр на Садовой. В оперетте тон задавала труппа Блюменталь-Тамарина, а вот куплеты, восхищавшие публику, сочинял как раз Комар. Однажды после инцидента, закончившегося судом чести (Сергей Потресов обругал нетрезвого метранпажа), журналист оставил газету и уехал в Петербург. Скорее всего, здесь сказалось желание провинциала покорить столицу, но было и еще кое-что.

Петербург. Встречи с Майковым и Полонским

Как-то перед этим в Ростове гостил петербургский генерал и издатель по фамилии Погожев, который загорелся напечатать стихи начинающего поэта Потресова, и, как раз к моменту конфликта в редакции «Приазовского края», в столице началась работа по подготовке поэтического сборника.

Ехал Сергей Потресов в Петербург с рекомендательными письмами актера Далматова к драматургам П. Гнедичу и И. Потапенке, критику А. Кугелю. Однажды прислуга гостиницы, передавая деду гранки будущей книги, вдруг объявила, что в соседних номерах живет еще один поэт, Минский, и тоже издает книгу. Состоялось знакомство.

Минский работал над переводом «Илиады», и Потресов, подражая ему, написал «Шахматиаду», в этой поэме с точностью до хода воспроизводил волновавшую тогда просвещенную публику последнюю решающую партию шахматного матча в Будапеште между Чигориным и Харузеком.

В Петербурге Сергей Потресов начал переводить «Метаморфозы» Овидия. Закончив работу, он отправил письмо с переводами «Метаморфоз», а также «Фаэтона» и «Нарцисс и Эхо» Аполлону Майкову. В ответном письме похвалив переводы, тот пригласил автора к себе на дачу в Сиверскую. Позже Сергей Потресов неоднократно посещал Аполлона Николаевича, привез ему изданную книгу стихов, про которую мэтр сказал, что автор поторопился.

Тогда Сергей Викторович поступил с изданием так, как, по его мнению, делали настоящие поэты: «... я уничтожал потом свою книгу везде, где ее находил. Последний эпизод этого рода произошел уже в Париже»⁴. Тот «парижский» экземпляр он не уничтожил, впрочем, как и тот, который с десятком цензурных штемпелей почти через полвека после смерти деда попал ко мне как щедрый дар молодого ростовского журналиста. По впечатлению Потресова, Майков отнесся к его книге снисходительно, указав на отдельные недостатки, и призывал деда бросить журналистику. Потресов его тогда не послушал и не жалел. «Из моей поэзии, – писал он в Париже, – осталось только одно стихотворение, написанное мною в девятнадцатилетнем возрасте, “Яблоня”, положенная шесть раз на музыку. И до сих пор еще я иногда слышу, как люди декламируют и мелодекламируют:

Полная сил, ароматная, нежная,
Яблоня в нашем саду расцвела».

Перевод «Метаморфоз» Яблоновский предложил Суворину, тот, сославшись на незнание языков, направил его к Буренину, однако к издателю дед не пошел. Он отправился к Полонскому, которому некогда посылал свои стихи, и получил напутствие от известного поэта. На этом петербургские встречи закончились.

⁴ Публикуется по автографу (БАР, фонд С. В. Потресова), гранки неизданной книги воспоминаний: Яблоновский С. Карета прошлого. Вместо предисловия, конец 1930-х гг.

Снова Харьков

Тут как раз выяснилось, что харьковской газете «Южный край» требуется фельетонист, Яблоновский вернулся в родной город и увлекся новым делом: «Я на второй странице, – писал он позже, – со всем юным пылом налетал на то, что проповедовалось на первой; харьковцы сразу выделили меня, я быстро вошел в жизнь города, стал членом многих прогрессивных обществ».

Именно благодаря публицистическим выступлениям и театральным рецензиям и портретам в этой газете, к Яблоновскому пришла известность.

Яблоня.

85

Игнатьев

Модерато

Спасибо, дорогой Сергей Васильевич,
за твои благодарности, которые ты мне выразил
в своем журнале "Южный край"

дубовый "Яблоня" —

Игнатьев

1904.

24-й Октябрь

Москва.

Ноты «Яблони», Н. Игнатьев, 1904

Автор антологии «Театральная критика русской провинции» А. П. Кузичева отмечала, что в 1890-е годы очевиден профессиональный рост и влияние провинциальных рецензентов, приводя такой пример: «Вспоминая свою юность, тогдашнюю неудовлетворенность

собственной игрой, П. Орленев рассказывал, какую огромную, решающую роль сыграла в его судьбе рецензия С. Яблоновского. В небольшой работе молодого актера критик угадал большой талант». «Разругав в восьми строчках Далматова за роль Грозного, автор посвятил маленькой роли царевича Федора Иоанновича, которую я играл, всю дальнейшую статью <...>. Он писал: “Я уверен, что если свет рампы увидит вторую часть трилогии Толстого, я предсказываю этому актеру (он даже не назвал имени) мировую известность”. Я спросил Качалова и Тихомирова: “А что это за вторая часть трилогии?” Они мне объяснили, и я попросил их достать ее. Они на последние деньги купили трилогию А. К. Толстого и привезли мне. Когда я дошел до пятой картины: “Я царь или не царь”, вылил все оставшиеся напитки в раковину и дал себе слово ничего не пить, пока не сыграю “Царя Федора”. С тех пор почти два года я бредил этой ролью».

Помимо того что сам Харьков в то время считался городом театральным, здесь гастролировали и крупнейшие столичные театры. Постепенно актерский портрет, который до него особенно не был в моде, стал доминирующим жанром в театральной критике Яблоновского: «Развернутых статей, обзоров или театральных портретов в это время газета “Южный край” не помещала, пока не появился Потресов. Весной 1897 г. он написал большую рецензию о В. П. Далматове в роли Грозного в трагедии А. К. Толстого (“Южный край”, 1897. № 5607. 6 мая). Раздел “Театр и музыка” стал занимать с тех пор заслуженное место, а театральная жизнь города получила интересное освещение».

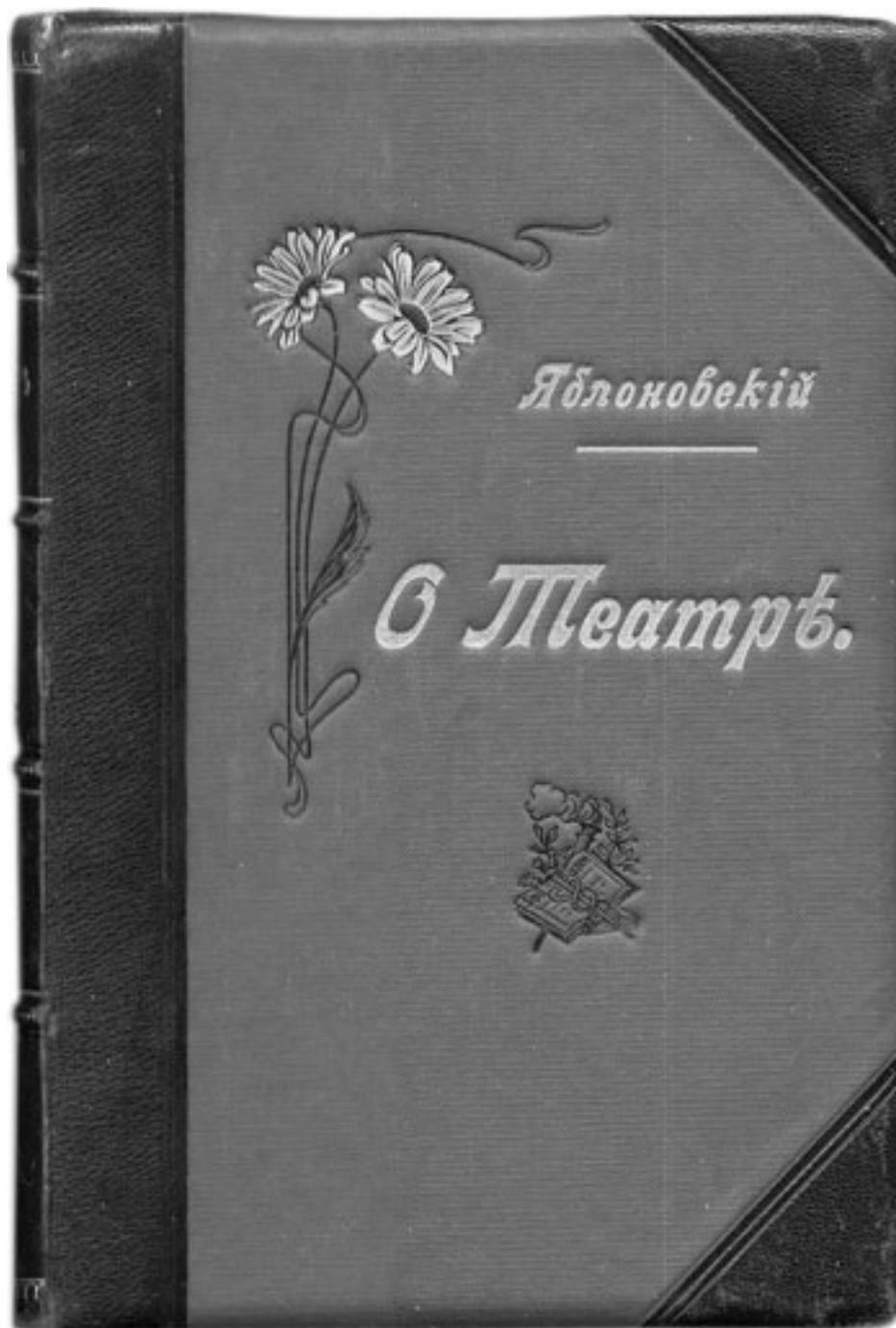


Харьков, памятник А. С. Пушкину

В своей фундаментальной статье упоминавшийся петербургский театровед В. Сомина пишет: «Яблоновский напечатал цикл очерков под общим заглавием “Около театра”. Они посвящены актерам, с которыми автор был близко знаком, и все же – это не мемуары, скорее работы историко-критического жанра. Афористичные характеристики чередуются с развернутыми описаниями отдельных ролей, иногда определяется творческий метод актера. Так, Стрепетова названа “великой бабой”. Но о ней и подробно в “Семейных расчетах” Н. Н. Куликова, и главное итоговое: “Стрепетова – гений страдания, доведенного до своих крайних пределов. Переходила она и эти пределы <...>.

– Как вы это делаете? – спросил я ее.

– Разве я что-нибудь делаю. Я ничего не делаю...



С. Яблоновский «О театре», обложка

Только душу распинаят, а остальное приходит само собой». В том же журнале поместил Яблоновский «Наброски о Малом театре», в частности в них тривиальное уже в то время сравнение Москвы с Петербургом выражено изящно и оригинально: «Москва – халат, пиджак, поддевка; Петербург – фрак, визитка, смокинг; московский актер может быть мешковат, несколько провинциален, его так легко представить себе помещиком; петербургский – элегантен, нервен, столичная штучка; московская артистка полна, круглолица, глаза с поволокою; петербургская – фигурой змеиста, лицом худошава, чуть-чуть с истерикой. Они даже говорят на двух разных русских языках <...>».

В то же время Сомина отмечает: «Эстетическая программа критика весьма расплывчата. Он ценил классический сценический реализм и, прежде всего, актерскую индивиду-

альность. В 1904 году Яблоновский писал: «Уметь представить свою душу и иметь такую душу, которую бы стоило представить, вот то, что требуется от актера».

Формально критик принимает режиссерский театр, сочувствует режиссерским усилиям в создании цельного спектакля. В конкретных же рецензиях Яблоновский, подробно разобрав пьесу, бросив одну-две фразы по общей характеристике спектакля, поспешно переходит к разбору игры. Ансамбль для него – сочетание индивидуальностей, роль – способ проявлений индивидуальности и только яркость этого проявления – успех спектакля. Признавая удачей В. Э. Мейерхольда тонкую, строгую стилизацию в «Сестре Беатрисе» М. Метерлинка, Яблоновский неожиданно переворачивал «дифирамб» к режиссеру и В. Ф. Комиссаржевской: «Как будто так и нужно, как будто в этом и задача, но думалось, а что, если бы вдруг явилась тут Стрепетова? Не поняла бы она стиля, опрокинула бы всю гармонию <...> да открыла бы такие раны, такие муки, что забыли бы мы об эстетике, и мучались бы, и наслаждались бы».

Последовательным традиционалистом Яблоновский тоже не был, как не был и сторонником какого-либо одного направления в искусстве. Он признавал и необходимость обновления реализма на других, модернистских путях. «Театр <...>, – писал критик о Художественном театре, – сделав очень многое для утверждения реализма, теперь ищет новых путей в стороне символизма и схематизации». Постановку любимейшей ему «Жизни человека» Л. Н. Андреева он принял только в Художественном театре, назвал ее «великолепной симфонией», созданной на основе мелодии из блоковского «Балаганчика», хотя сам спектакль Мейерхольда считал неудачей, «новацией ради новации».

В упоминавшейся уже книге «О театре» Яблоновский дает блистательные портреты М. Н. Ермоловой и В. Ф. Комиссаржевской.

Москва. Работа в «Русском слове»

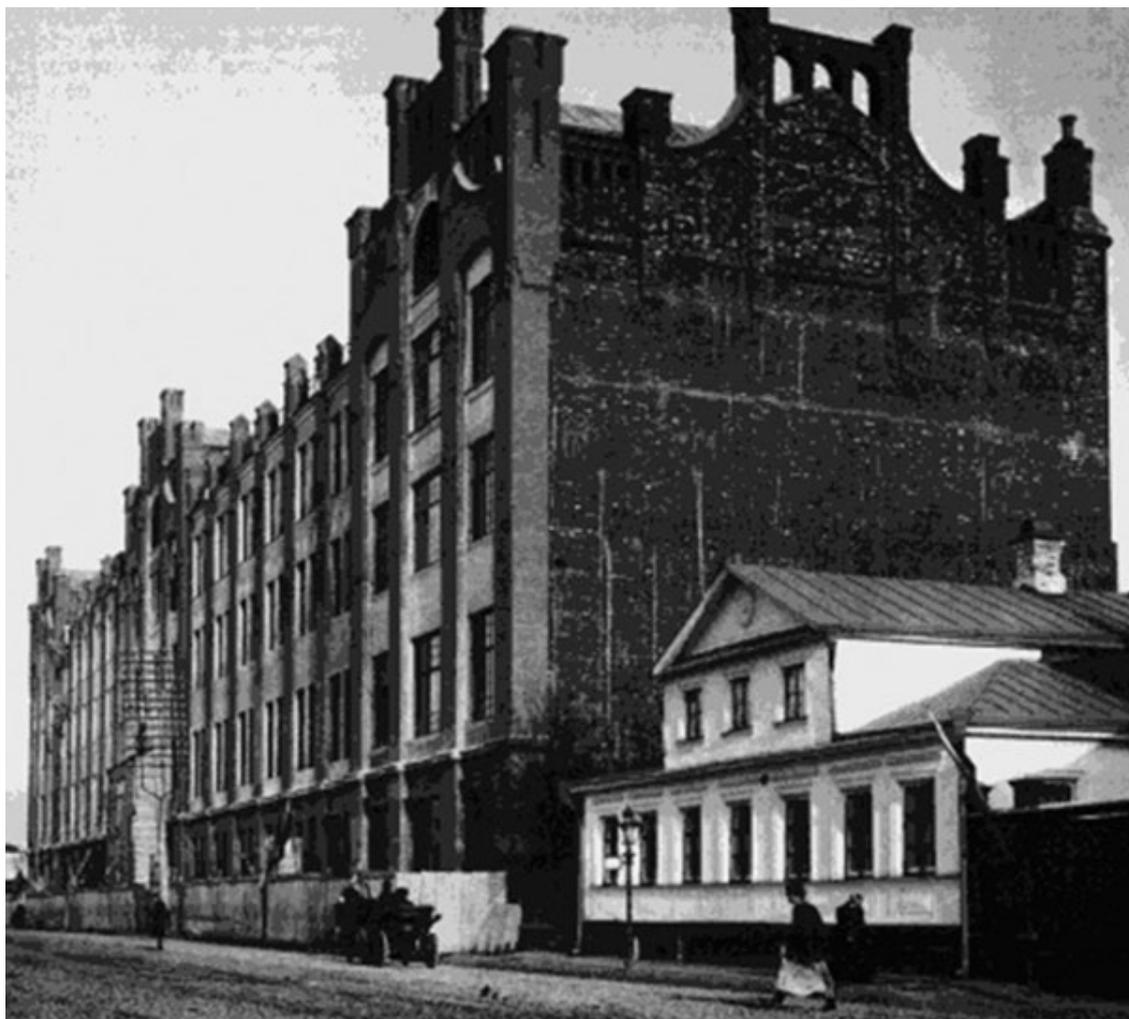
В 1898 году Сергей Яблоновский женился на Елене Александровне Клементьевой. А в 1901 году его пригласили на должность редактора в «Русское слово», московскую газету, издававшуюся более чем в миллион экземпляров. Позже Яблоновский вспоминал: «Этот тираж превышал тираж всех русских газет, вместе взятых. Это значит, что в эти годы я ежедневно беседовал примерно с пятью – семью миллионами людей. Вел я общественный фельетон, театральный отдел, писал по вопросам искусства». Елена Александровна после свадьбы стала собирать публикации своего мужа и наклеивать их в альбомы. К 1915 году она подсчитала, что из них «...могло бы выйти двести девятнадцать томов ежемечасника формата и объема популярного тогда “Вестника Европы”».



С. Яблоновский «О театре», титульный лист

«Объясняется это тем, – писал С. Яблоновский, – что, кроме ежедневного фельетона в “Русском слове”, я часто помещал и критические статьи, посылая в то же время по две

статьи в неделю в две провинциальные газеты. Это я говорю не только о себе: так работают многие журналисты».



Редакция «Русского слова»

У Потресовых было пятеро детей. Старшая дочь умерла в раннем детстве от аппендицита, поэтому удалению отростка превентивно подверглись все дети. По воспоминаниям моего отца, семья жила в Москве, довольно часто меняя квартиры, причем дед любил дома в стиле модерн, нанимал, как правило, десять – двенадцать комнат, с прислугой, старшие до поры имели гувернеров, а младшие – бонн.



С. В. Яблоновский в кабинете, 1900-е годы

Несмотря на несметное число публикаций, постоянную работу в театре, Сергей Яблоновский руководил литературными «вторниками» Московского Художественного театра, участвовал в общественной жизни второй столицы, был членом Московского литературно-художественного кружка, позже председательствовал в Обществе деятелей периодической печати и литературы. «Дело было в 1907 году, – вспоминал В. Ходасевич об одном из вечеров в Московском литературно-художественном кружке. – Одна приятельница моя где-то купила колоссальнейшую охапку желтых нарциссов, которых хватило на все ее вазы и вазочки, после чего остался еще целый букет. <...> Не успела она войти – кто-то у нее попросил цветок, потом другой, и еще до начала лекции человек 15 наших друзей оказались украшенными

желтыми нарциссами. Так и расселись мы на эстраде, где места наши находились позади стола, за которым восседала комиссия. На ту беду докладчиком был Максимилиан Волошин, великий любитель и мастер бесить людей. <...> В тот вечер вздумалось ему читать на какую-то сугубо эротическую тему – о 666 объятиях или в этом роде. О докладе его мы заранее не имели ни малейшего представления. Каково же было наше удивление, когда из среды эпатированной публики восстал милейший, почтеннейший С. В. Яблоновский и объявил напрямик, что речь докладчика отвратительна всем, кроме лиц, имеющих дерзость открыто украшать себя знаками своего гнусного эротического сообщества. При этом оратор широким жестом указал на нас. Зал взревел от официального негодования». Убежденный реалист, Яблоновский не желал признавать новаторства в творчестве, считая это трюкачеством, попыткой привлечь внимание, подменой подлинного таланта. Футуристов он презрительно именовал «бурлюками и другими писателями». Отношения с ними были напряженные. В шестидесятые годы прошлого века дочь К. Бальмонта, Нина Бруни, вспоминала: «При мне Маяковский взбил на палитре белила и воскликнул: “А это – мозги Яблоновского!”».

По воспоминаниям Каменского: «Для привлечения внимания к нашему вечеру мы, зарисовав себе лица, пошли по Тверской и Кузнецкому. По дороге мы вслух читали стихи. Конечно, собралась толпа. Раздавались крики “циркачи, сумасшедшие”. В ответ мы показывали нашу афишу. Помогло нам еще то, что в день выступления в “Русском слове” появилась статья Яблоновского “Берегите карманы”, где он рекомендовал нас как мошенников. Публика, разумеется, захотела сама убедиться, как это футуристы будут чистить карманы, и аудитория была переполнена. За 10–15 минут до начала мы вспомнили, что неизвестно, собственно, что будет читать Маяковский, который очень хотел этого выступления, очень ждал его. Когда мы его спросили об этом, он ответил:

– Я буду кого-нибудь крыть.

– Ну что же. Вот хотя бы Яблоновского! <...> Возле здания Политехнического музея, перед началом, творилось небывалое: огромная безбилетная толпа молодежи осаждала штурмом входы. Усиленный наряд конной полиции водворял порядок...»

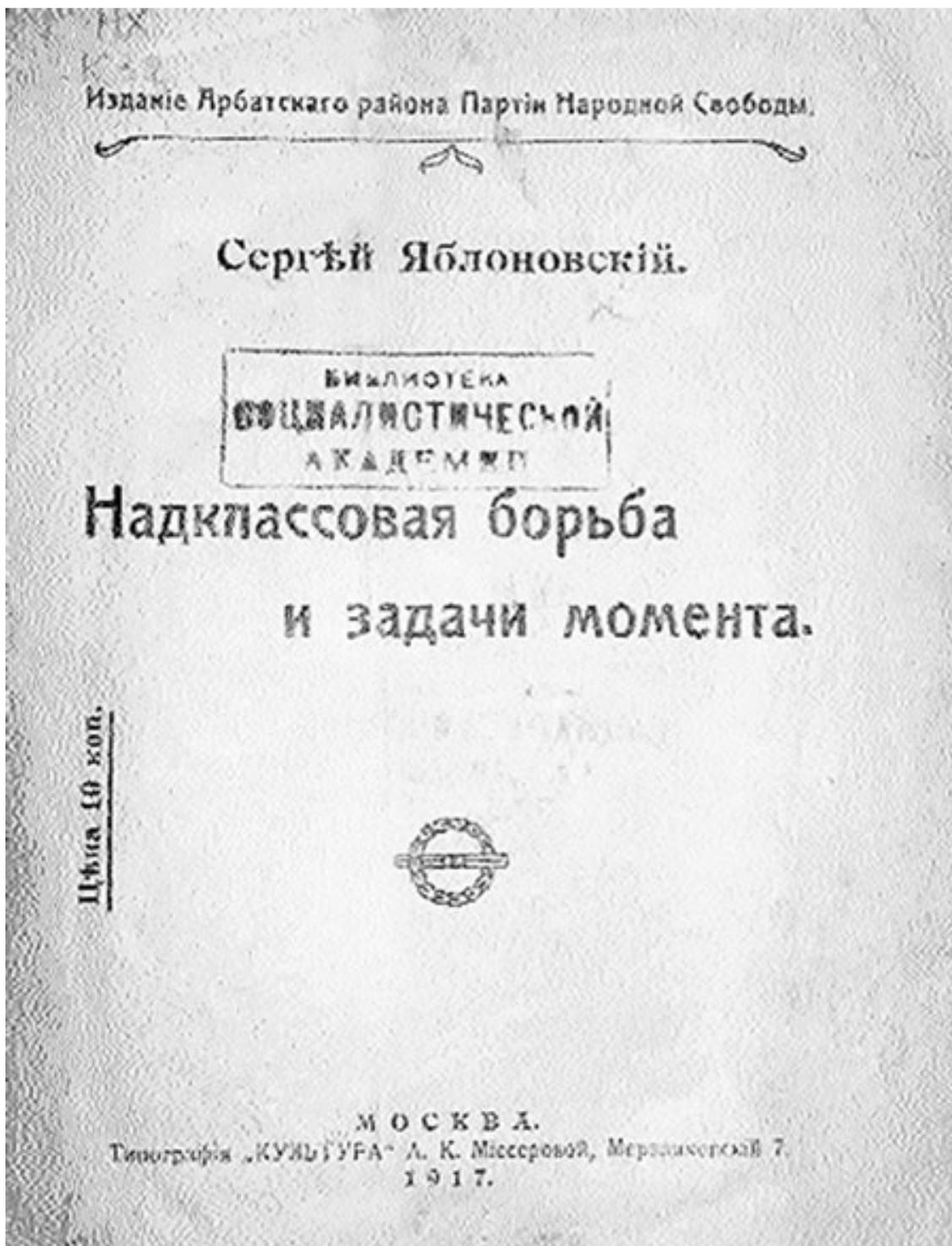
Много позже время расставило все по своим местам.



С. Яблоновский «Кто завоевал свободу», 1917

Как и большинство людей его круга, Яблоновский примкнул к партии Народной свободы. По семейным воспоминаниям, он не признавал революционных передраг, поэтому недоумение вызывает тезис, приведенный в упоминавшейся статье Веры Соминой, что «первую русскую революцию он приветствовал». Тем более, опыт был: в 1905 году Яблоновский был свидетелем, как сожгли типографию (фабрику) Сытина, где печатались книги для народного просвещения. Позже о драматизме этих событий Яблоновский писал в эмиграции. Хотя Яблоновский и написал «опыт народного гимна» на музыку композитора П. Н. Ренчицкого с посвящением «обновляющейся России», как всякий благоразумный человек, в революциях видел зло, когда одни прохиндеи заменяли других. «Без конца горд только тем, что никогда и ни в каких писаниях, и в этом гимне тоже, не было у меня ничего злобного и кровожадного». «Гимн» начинался словами:

«Благословен будь наш путь благородный,
К воле вперед и вперед.
Славься и крепни в России свободной,
Русский свободный народ!»



С. Яблоновский «Надклассовая борьба и задачи момента», 1917

В разного рода собраниях этот гимн исполняли не по три раза, как прежний, а например, как на заседании педагогического общества, исполненный великолепным басом Мозжухиным по требованию присутствующих девять раз. В связи с этим Яблоновский вспоминал трагикомическую ситуацию: когда он договорился о печати тиража «Гимна» за собственные средства на фабрике Мамонтова с ежемесячным погашением долга, к нему пришли «... на квартиру мамонтовские рабочие и потребовали, чтобы я уплатил следующее немедленно, иначе они от меня не уйдут. Я не помню, как вышел из этого положения, но помню суровые решительные лица моих гостей, сумрачно смотревшие и без слов говорившие, что мне объ-

явлена война». Кстати, в то время писался другой гимн, и автор его, известный нам Минский, включил в него совсем другие слова:

«Пролетарии всех стран, соединяйтесь,
Наша сила, наша воля, наша власть!
В бой последний как на праздник собирайтесь,
Кто не с нами – тот наш враг! Тот должен пасть!
Мир возникнет из развалин, из пожарищ...»

ну и так далее.

В своих политических убеждениях, равно как и в нравственных позициях, Яблоновский был подчеркнуто последователен, никогда не менял раз и навсегда выбранных ориентиров, что привело в дальнейшем к полному расхождению с некоторыми «братьями» по эмиграции, в том числе с Буниным. Василий Иванович Немирович-Данченко, одно время сотрудничавший с Яблоновским в «Русском слове», писал ему: «Вы всегда принадлежали к тем редким исключениям в литературе, которыми она справедливо может гордиться. Часто в безоглядном увлечении ею, Вы ни разу не омрачили своего духовного облика ни нравственным, ни политическим диссонансом. Вы никому и ничему не подслуживались. В капищах Ваала Ваших жертв не было».

Уделяя массу времени профессиональной работе, общественной и партийной деятельности, Сергей Яблоновский занимался воспитанием детей, помогал гимназии Кирпичниковой на Знаменке, где учился его сын, Александр Потресов. Сын Василия Качалова, Вадим Шверубович, вспоминал, как в рождественском (1916 г.) гимназическом спектакле ему была поручена роль Бориса Годунова. Учительница русского языка приходила в отчаяние от игры сына известного актера и «позвала на помощь отца моего одноклассника, очень известного в то время театрального критика “Русского слова”, писателя-очеркиста и знатока театра Сергея Викторовича Яблоновского (Потресова). Он попробовал поработать со мной, объяснял мне смысл каждой фразы, каждого слова».

Яблоновский учил детей воспринимать русскую культуру, классическое изобразительное искусство, литературу, природу, зодчество. Летом он нанимал дачу неподалеку от подмосковного Архангельского, имения Юсуповых. Сюда в частые отсутствия хозяина имелся свободный доступ, и Сергей Викторович пользовался этой возможностью, чтобы приучать детей к восприятию предметов искусства, тщательно собранных в этой усадьбе.

Унаследовав от отца-юриста ораторские способности, Сергей Яблоновский темпераментно и эмоционально умел подчинять аудиторию. Сегодня слово «лектор» вызывает унылые ассоциации, а в начале прошлого века люди тянулись на диспуты, неизбежно сопутствовавшие актуальным лекциям. Яблоновский в том числе разъезжал по России с лекциями, направленными против волны юношеских самоубийств, захлестнувших страну в начале XX века.

Помимо «Русского слова» и южнорусских провинциальных газет рецензии и статьи Яблоновского печатались в журналах «Театр и искусство», «Рампа и жизнь», «Кулисы».



С. Яблоновский с семьей, Москва, ок. 1916

Революция. Встречи с Романовыми. Приговор ЧК

О первых месяцах после октябрьского переворота Яблоновский писал почти десять лет спустя: «Порассказать, конечно, было о чем. Переживавшееся тогда время характеризо-

валось полной неопределенностью дозволенного и запрещенного: еще на митингах можно было произносить страстные речи против большевиков, но все и каждую минуту находились в ожидании всяких расправ, за какую угодно вину и безо всякой вины. Еще продолжали выходить прежние “буржуазные” газеты, но на них уже обрушился целый ряд кар. Чуть ли не наибольшая в Европе типография Сытина, где печаталось до этого времени “Русское слово”, была реквизирована. Большевики печатали там свои “Известия” на огромных запасах чужой бумаги, которую они, расходуя, в то же время заложили в банке за два с половиною миллиона. “Русские ведомости” – газета, которую никогда не решалось тронуть даже самодержавное правительство, считаясь с исключительным уважением, которое она завоевала в стране, – были закрыты и, после больших усилий, возродились под пикантным названием “Свободные вести” (за точность названия не ручаюсь, но ручаюсь за его смысл. – С. В. Я.). Еще функционировали политические партии, но чуть не ежедневно на них совершались набеги, происходили обыски, аресты, высылки, расстрелы. Террор еще не был возведен в стройную последовательную систему, но постоянно проявлялся, и все чувствовали себя в положении попавшего в капкан животного: вот-вот явятся и расправятся. Повсеместное ожидание ужасов создавало в населении тупую, оскорбительную покорность».

За исключением ряда шероховатостей, октябрьский переворот, пока за трактовку его истории не взялись большевистские идеологи, некоторое время страдал известной «бархатностью»: оппонентов еще не сажали и не убивали, хотя вскоре все изменилось.

В Перми, где он встретился с Великим князем Михаилом Александровичем Романовым, Яблоновский оказался летом 1918 года. По заданию партии Народной свободы он читал в городах Сибири публичные лекции, в которых наивно, как показали скорые события, пытался словом привлечь сторонников к своей партии. Однако события развивались стремительно: «А в мое отсутствие у меня был произведен обыск и выемка, на которые я совершенно не рассчитывал: своих взглядов я не только не скрывал, но всячески старался открыто распространять их: писал статьи, выступал с публичным словом. <...>

Обыск я могу приписать только личной мстительности большевиков: чуть ли не накануне его под моим председательством прошло общее собрание Московского общества деятелей периодической печати и литературы, на котором мы исключили из состава общества неистовствовавшего над прессой комиссара по делам печати Подбельского (бывшего хроникера “Русского слова”), исключили точно так же комиссара по иностранным делам профессора Фриче и поставили на вид поэту Валерию Брюсову всю двусмысленность его положения на службе у большевиков в качестве – в то время – аполитичного регистратора выходящих в свет книг и журналов.

Свидетели обыска мне передавали, что записную книжку исследовали очень долго».

Умалчивает Яблоновский и еще об одной вещи, за которую екатеринбургская ЧК заочно приговорила его к расстрелу. Он говорит вскользь о поездке в Екатеринбург накануне трагических событий, когда в доме инженера Ипатьева находились Николай II со всей семьей. Семейные намеки на участие деда в заговоре в Екатеринбурге с целью вызволения Николая II я слышал еще в детстве. Возможно, я не располагаю полным перечнем трудов Яблоновского, но мне нигде не попадались его записи, в которых бы он опровергал или подтверждал факт участия в этом заговоре. Писатель Эдвард Радзинский, видимо поврежденный творческой завистью к произведениям «историков» типа Александра Дюма или Валентина Пикуля, пишет об этом так: «... И вот, когда я сам устал от своей подозрительности <относительно того, был заговор с участием Потресова-Яблоновского или нет. – В. П.>, однажды позвонил телефон, и тихий старческий голос церемонно представился: “Владимир Сергеевич Потресов, провел 19 лет в лагерях”.

Вот что рассказал мне 82-летний Владимир Сергеевич: «Мой отец до революции – член кадетской партии и сотрудник знаменитой газеты “Русское слово”, известный теат-

ральный критик, писавший под псевдонимом Сергей Яблоновский... <...> // В голодном 1918 году отец выехал в турне по Сибири с лекциями. Весь сбор от лекций моего полуголодного отца шел в пользу... голодающих! Последняя его лекция была в Екатеринбурге... // И вскоре во время отсутствия отца к нам в дом пришли чекисты и произвели обыск. Матери объявили, что екатеринбургская ЧК заочно приговорила отца к расстрелу за участие в заговоре с целью освобождения Николая II. // Когда отец вернулся домой и все узнал, он был страшно возмущен: “Да что они там, помешались? Я по своим убеждениям (он был кадет, сторонник Февральской революции) не могу быть участником царского заговора. Я пойду к Крыленко (тогдашний председатель Верховного трибунала)!” // Отец был типичный чеховский интеллигент-идеалист. Но мать сумела его убедить, что большевики объяснений не слушают – они расстреливают... И отец согласился уехать из Москвы, он перебрался к белым. Потом эмиграция, Париж, нищета – и могила на кладбище для бедных... // Меня арестовали в 1937 году за участие отца в заговоре, о котором тот не имел никакого понятия. Вышел я только в 1956-м⁵. Оставив в стороне театральные приемы: звонок, возникший по мановению в минуту «усталости» автора, «церемонный голос» и прочие атрибуты плохой пьесы, отмечу определенное лукавство писателя. В 1918 году Владимиру Сергеевичу Потресову было всего восемь лет, и трудно поверить, что взрослые обсуждали с ним или при нем участие деда в заговоре или планировали поход к Крыленко. Гайки тогда закручивались с завидной скоростью. Вернее всего, это версия для маленьких детей, чтобы те не пострадали в условиях обосновывавшегося режима. Утверждение о том, что кадеты не могли быть сторонниками царского режима, весьма спорно. Не выдерживает критики сравнение Яблоновского с «типичным чеховским интеллигентом-идеалистом»: достаточно прочитать его острые, полемические статьи и, главным образом, написанные как раз в то тревожное время. Абсурдом представляется, будто бы «...мать сумела его убедить, что большевики объяснений не слушают – они расстреливают». Мне трудно допустить, что для видного публициста и политика, которым был тогда дед, решающим оказалось слово жены, милой и образованной женщины, однако занятой только домашним хозяйством и детьми.

И наконец, В. С. Потресова арестовали вовсе не за участие деда в заговоре – этому могли бы быть, скорее, подвергнуты старшие дети. Более того, побывав там, он никак не рискнул бы назвать известное русское кладбище в парижском пригороде Сен-Женевьев-де-Буа «кладбищем для бедных». Сын В. С. Потресова, вспоминая тот разговор отца с писателем, отмечает, что он был несколько другим, так что доверять Радзинскому я бы не стал. Полагаю, что, находясь в Париже, Яблоновский никогда не касался тем, связанных с Ипатьевским домом, потому что боялся навредить родным, оставшимся на родине. Но все это, повторяю, лишь версия. Впрочем, и доказательств того, что Яблоновский участвовал в том заговоре, у меня нет, а есть лишь некоторые соображения, но оставим эту тему.

⁵ Радзинский Эдв. Николай II: жизнь и смерть. М., 1997.



С.В. Яблоновский, 1918. Рисунок неизвестного

Яблоновский сбрил бороду и с чужим паспортом на имя Ленчицкого вместе с семьей (старший сын Яблоновского, мой отец, Александр Потресов в это время находился в Сибири, и родным о его судьбе ничего не было известно) уехал на юг России, в Харьков, где примкнул к Белому движению:

«Бежав от власти большевистской
И от милиции московской,
Исчез немедленно Ленчицкий
И появился Яблоновский».

– воспроизводил горький юмор тех лет 20 декабря 1953 года в своем некрологе деду в «Новом русском слове» Петр Ершов.

Бег

Меня часто спрашивают, почему Яблоновский бежал за границу, оставив семью на произвол большевикам. Это не так. Во-первых, его жена Елена Александровна отказалась следовать за мужем в Ростов, поскольку в Харькове дети заболели и бежать с ними дальше на юг не было возможности, а кроме того, Яблоновский, как и многие его современники, был уверен, что власть большевиков – недоразумение, которое долго не продержится.

Впрочем, откроем дневник Яблоновского: «Четверг, 3.VI 20 г. <Тель-эль-Кебир> Сегодня Лелины <Елена Александровна Потресова, жена С. Яблоновского. – В. П.> именины. Как-то поживает моя Леся? <...> Я сижу у себя в палатке и весь мыслями с нашими. Где они? – В Ростове? Харькове? Москве? Вернулся ли к ним Шура? Это оч<ень> возможно. Помимо себя, помимо самого Шуры, как я был бы счастлив за Лелю. <...>

31. XII <1920>. Париж

<...> Моя тоска по своим, по Леле, Соне, Шуре, Вове и Ноне растет все время, растет с каждым днем. <...> Милые, родные, любимые, где вы? Живы ли? Здоровы ли? Если не сыто – где уж?! – то хоть перебиваетесь ли как-нибудь?

Леля, родная! Деточки мои милые! Хоть бы узнать только, что вы существуете».



Удостоверение С. В. Яблоновского, 1919

В течение почти двух лет, проведенных С. В. Яблоновским на юге России, ему довелось работать отчасти в тех же самых газетах, в которых трудился в юности. Кроме того, по поручению отдела пропаганды Добровольческой армии, он читал лекции против большевиков в Харькове, Ростове-на-Дону, Новороссийске и других городах Юга России. Его предчувствие краха прослеживается в статьях «Перед портретом», где писал, как в чертах портрета Деникина, выставленного в витрине на Серебряковской улице Новороссийска, автор видел приметы того, что сохранилось в России честного и порядочного; «У грани» – паника, падение духа войск, в дневниковых записях того времени.



С. В. Яблоновский, пароход «Саратов», 1920

С грустным юмором Сергей Яблоновский позже описал последнюю встречу с Мариэттой Шагинян, произошедшую в Ростове-на-Дону, накануне вступления большевиков: «В Нахичевани же произошла и моя последняя с нею встреча, уже в девятнадцатом году, когда я бежал из города в город, по мере того как их занимали большевики. Здесь я нашел и Мариэтту, и ее сестру Лину (Магдалину); обе, и неистовая Мариэтта, и красивая, мягкая, необыкновенно нежная Лина, были уже пропитаны большевизмом. Тут впервые ощутилось полное, бесповоротное расхождение. С моей стороны было много резкого, отношение сестер было мягкое, грустно-ласковое. Разумеется, в то время большевизм им представлялся высшей справедливостью, а кровь, насилие, разрушение, вероятно, они считали временной печальной необходимостью. Большевики входили в Ростов, мне нужно было бежать. Мариэтта со своей обычной порывистостью уговаривала остаться: она меня спрячет.

– Какое же вы имеете право прятать врага от своих друзей? Этого лицепрятия я не признаю да и сам не хочу принимать ничего ни от ваших новых товарищей, ни от вас.

Мы расставались, и получилась даже смешная сцена: мне долго пришлось буквально отбиваться, чуть ли не руками и ногами, от ее желания обнять и поцеловать меня.

Объятий избежал».

Двадцать второго февраля 1920 года Сергей Яблоновский в Новороссийске поднялся на борт парохода «Саратов», чтобы навсегда покинуть Россию.

О последних днях в России, ужасах бегства, издевательствах англичан-спасителей, крайне тяжелых условиях жизни в лагере Тель-эль-Кебир в Северной Африке за колючей проволокой, надеждах на крах большевизма Яблоновский написал в эссе «Из беженских скитаний».

Страсть к общественной деятельности в Тель-эль-Кебire Яблоновский удовлетворял тем, что в жутких условиях создал с единомышленниками гимназию для детей беженцев, где преподавал русский язык и историю, а также был попечителем учебного заведения. Но к середине 1920 года многие беженцы разъехались, лагерь опустел. Летом Яблоновский получил письмо от А. Н. Толстого:

«17 июня 1920 г.

Дорогой Сергей Викторович,

Посылаю Вам приглашение Романа Абрамовича Кривицкого в личные секретари. Р. А. Кривицкий – чрезвычайно богатый человек, и по его письму Вам немедленно выдадут визу в Париж. При этом прилагаю копию письма министру. Вслед за этим письмом высылаю Вам 500 франков. Вторые 500 фран<ков> Вам переданы будут в Париже. Приглашение, само собой разумеется, нужно рассматривать исключительно как возможность получения визы.

Очень рад буду видеть Вас в Париже и помочь Вам всем, чем могу.

Крепко жму руку.

Гр. Алексей Н. Толстой. 48 Rue Raynouard Paris XVI».

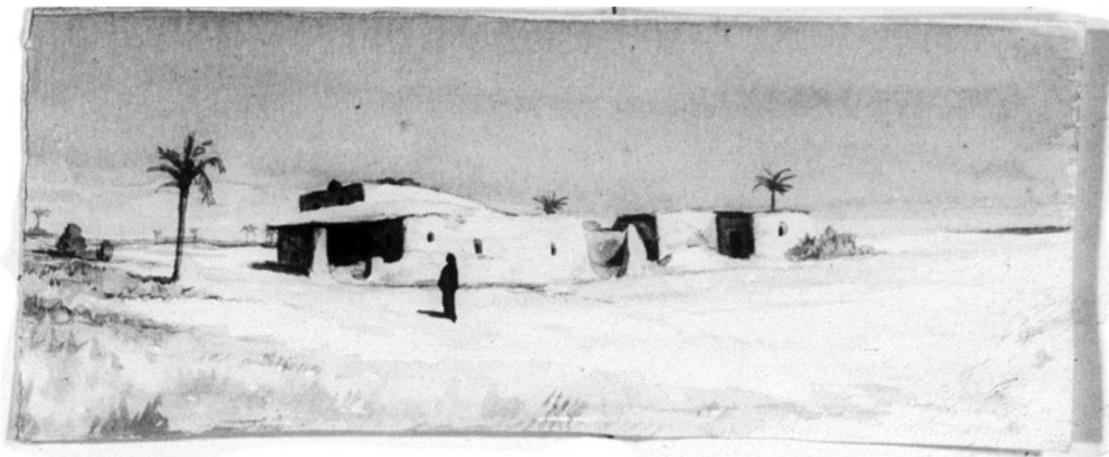
Однако с визой все складывалось непросто. 5 октября 1920 года Яблоновский писал Бунину: «<...> Толстой сообщил, что мне высланы деньги на дорогу в Париж, что он постарается подыскать мне работу и что его знакомый, Р. А. Кривицкий, хлопочет перед французским министром иностр<анных> дел о разрешении мне въезда во Францию. Затем я получил и деньги, и разрешение; ликовал, готовился к отъезду, но вдруг пришел из Парижа контрордер, отменяющий уже данное разрешение. <...> Я написал гр. Толстому в начале августа, потом в начале сентября, прося выяснить это, но мои письма точно падают в яму – никакого ответа. Писал я и Кривицкому, но с тем же успехом». Однако в конце концов виза была получена, и в день его пятидесятилетия русская колония лагеря Тель-эль-Кебир провожала Сергея Яблоновского в Париж. Так для него навсегда закончилась жизнь в России и беженские скитания.

«Страшнейшая казнь писателю быть принудительно вне родного...»⁶

Период эмиграции для Яблоновского затянулся на долгие десятилетия, в течение которых катастрофически менялась как общая политическая обстановка в мире и Европе, так

⁶ Строка из письма И. С. Шмелева С. В. Яблоновскому, 22.11.33, Капбретон. VAR, Coll. Potresov, Box 1.

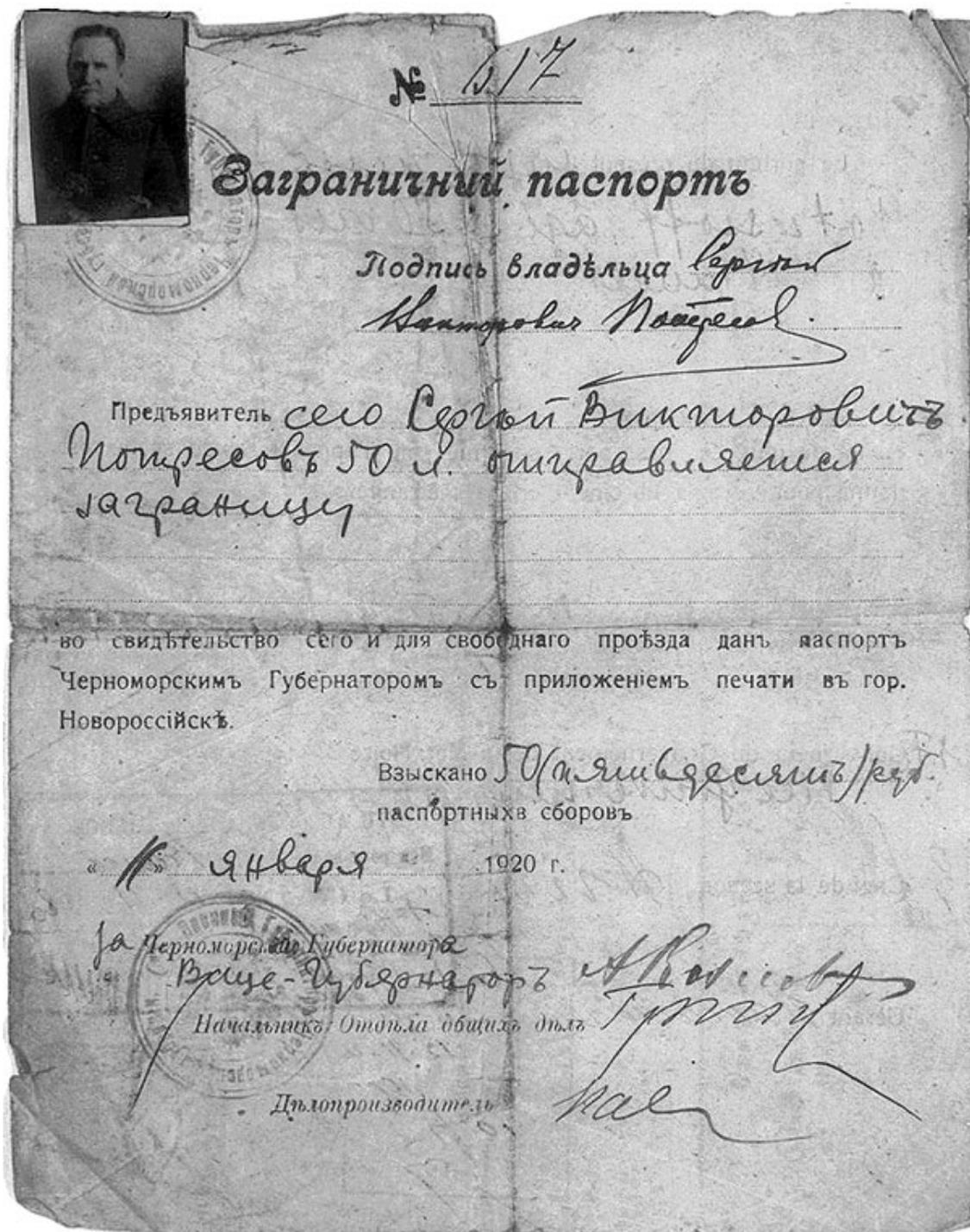
и жизнь во Франции, которая навсегда стала, как нынче не совсем верно говорится, второй родиной Сергея Викторовича.



Тель-эль-Кебир, 1920 год. Рисунок Е. Н. Конопацкого

Мне не удалось обнаружить сколько-нибудь подробных воспоминаний о жизни деда во Франции, отрывочные сведения основаны на известных, тем или иным путем зафиксированных событиях, а также его собственных публикациях или рукописях и семейных преданиях. Неясно также, каким образом удалось решить проблему с контрордером, сыграл ли тут какую-то роль Бунин, или все как-то разрешилось другим путем, однако уже в конце 1920 года Яблоновский оказался в Париже. Это следует из дневниковых записей литератора, опубликованных в этом сборнике.

В начале двадцатых годов в Париже, затем берлинских эмигрантских изданиях появляется имя Яблоновского-журналиста. С той же страстью, как обличал недостатки жизни в России, журналист обрушивается на беспорядки как в эмигрантской среде, так и во Франции, обращая внимание на прорехи в либеральном строе, который весь последний век ставился в пример России. В частности, он пишет о фактически бесправном положении женщины в обществе, разгуле полицейского произвола, лености французов и т. п.



Заграничный паспорт С. В. Потресо (Яблоновского), 1920

Не одобрял С. В. Яблоновский и французских писателей, в том числе Анатоля Франса, Романа Роллана и других, выступавших за прекращение интервенции: «Вы более чем умыли руки; вы все время поддерживали тех, кто виртуозно плавает в созданном океане крови. Своим именем, своим авторитетом, тою ответственностью, какую налагает избранность, вы помогли и помогаете убийствам без конца и без счета».

Начиная с 1921 года Яблоновский регулярно печатает фельетоны в газете «Общее дело», в них убеждает всех мыслящих людей в необходимости продолжения борьбы: «Ненависть необходима, ненависть к злу, ненависть к демагогии, ненависть к той ненависти, кото-

рую проявили экспериментаторы ко всем человеческим ценностям. Ненависть к ненависти, которую они насаждали в человеческих душах».

Одновременно С. В. Яблоновский преподавал в лицеях и французских школах русский язык, в том числе в 1932–1933 годах в известном лицее *Buffon*, сокрушаясь, что дети российских эмигрантов забывают родную речь, и в многочисленных публикациях приводил соображения о причине этого явления.

Позже, в соавторстве с Вл. Бучиком, С. Яблоновский выпустил книгу «*Pour bien savoir le russe*», которую можно вольно перевести как «Для правильного понимания русских». В рецензии, подписанной неким господином Г., в берлинском «Руле» сообщается, что эта книга, переведенная здесь как «Россия и русские», «...выпущенная в свет известным французским издательством, предназначается, собственно говоря, для французского читателя, уже знакомого с русским языком. Собранные здесь отрывки из произведений крупнейших русских писателей должны помочь окончательно освоить русский язык и вместе с тем познакомиться с природой России, ее верованиями, бытом и характером народа. Эта задача выполнена составителями настолько удачно, отрывки подобраны так тщательно и умело, что книга доставит огромное удовольствие и русскому читателю, возбуждая и в старых, и в молодых сладкое, но далекое, теряющее уже в своей ясности воспоминание. Эта книга, как справедливо говорят составители предисловия, приближает дорогой и любимый образ родины. Помимо отрывков, в книге напечатан и ряд статей и заметок, дополняющих или объясняющих художественные образцы. Отрывки взяты не только из сочинений наших великих классиков, но и талантливых современников Алданова, Бунина, Зайцева, Куприна и др.». Найти экземпляр этой хрестоматии мне пока не представилось возможным, но удалось точно определить время выхода ее в свет – август 1930 года, по дате письма И. С. Шмелева к С. В. Яблоновскому, где Иван Сергеевич поздравляет деда с появлением этой книги.

Верный политическим убеждениям, Яблоновский с 1921 года состоял членом Парижского комитета Партии народной свободы, выступал с лекциями и докладами в Русской академической группе, Союзе русских литераторов и журналистов в Париже, членом которого состоял, сотрудничал в Русском литературноартистическом кружке. С 1922 года выступал в Тургеневском артистическом обществе, Русском народном университете. С момента ее образования в 1923 году был членом комитета Лиги борьбы с антисемитизмом в Париже. В 1933 году редактировал в Париже издание Содружества «Восход», с того же года член Союза деятелей русского искусства, сотрудничал с Московским землячеством, с Юношеским клубом РСХД⁷.

⁷ Основано в октябре 1923 г. в местечке Пшеров близ Праги, где состоялся учредительный съезд, который положил начало действительному движению среди русской эмигрантской молодежи.

65

Дорогой Сергей Викторович,
какой-то поэт однажды сказал:
Какое самообладание
У людей просто звание,
Не обращающих внимания
На трудности существования!

Дорогой Сергей Викторович,
будешь подражать этим ло-
тадеям!

Ив. Бунин

Париж,
Петров день
1921 г.

Пожелание И. А. Бунина в альбоме С. Яблоновского, 1921

21 июня 1928 года С. В. Яблоновский посвящен в ложу Юпитер (№ 536 в союзе Великой ложи Франции), инсталлированную в Париже в конце 1926 года после раскола ложи Золотое Руно. Юпитер в названии ложи символизировал Разум, проявленный в действии. Работала ложа по Древнему и Принятому Шотландскому Уставу в русском масонском доме на улице Иветт. Позже дед возведен во 2-ю и 3-ю степени. Примерно в эти годы произошло еще одно загадочное событие, известное мне из семейных преданий, но о котором не удалось найти каких-либо следов в архиве С. В. Яблоновского, за исключением косвенного ука-

зания, обнаруженного в письме И. С. Шмелева. Речь идет о приезде в Париж младшего сына Яблоновского, упоминавшегося моего родного дяди, Владимира Сергеевича Потресова. Вот тут я столкнулся с разночтениями.

Мой отец рассказывал (уже во времена Н. С. Хрущева), что его брат Владимир Сергеевич, как примерный комсомолец, в конце двадцатых – начале тридцатых годов был направлен на лечение в Италию (!). Пробираясь туда на поезде через всю Европу, он оказался в Париже, где встретился со своим отцом, с которым, мол, у него вышли разногласия политического характера, сделавшие их дальнейшие общения невозможными. Иное рассказал мне сын В. С. Потресова, Вадим Владимирович: «Отец уехал в Париж и жил у деда примерно с 1922 по 1924 год; сам он рассказывал об этом неохотно, ссылаясь на то, что подвергался постоянным насмешкам и унижениям со стороны нашего деда, поэтому и вернулся обратно в СССР». Странно, что, рассказывая Радзинскому о том, что пострадал «как сын Яблоновского», В. С. Потресов умалчивает о парижских встречах с отцом. Некоторый «документальный» свет на это событие проливают строки из письма И. С. Шмелева к С. В. Яблоновскому 22 января 1926 года: «Дорогой Сергей Викторович, // Во-первых, поздравляю с радостью – возвращением и воскресением Вашего сына. Я понимаю, какое это счастье». И заканчивает письмо постскриптумом: «Поцелуйте за меня “возвращенца”». Пока это единственное известное мне документальное подтверждение пребывания В. С. Потресова в Париже. Позже, в годы репрессий, он был осужден (согласно приведенной выше ссылке на Радзинского, в связи с участием С. В. Яблоновского в заговоре по освобождению императора и его семьи, однако, повторю, о парижском его проживании нет ни слова).

18 мая 1928 года русский Париж отметил 35-летие литературной деятельности Яблоновского. Председательствовал в комитете по организации чествования И. А. Бунин, а на банкете – Н. А. Тэффи. С речами выступали Б. К. Зайцев, Е. Н. Рощина-Инсарова, А. В. Карташов, С. П. Мельгунов, М. А. Осоргин, поэты А. П. Ладинский, Ю. В. Мандельштам, С. И. Левин и другие. Юбиляр получил множество поздравительных писем со всех концов земли.

В двадцатые – тридцатые годы XX столетия публикации С. В. Яблоновского регулярно появлялись в русскоязычных периодических изданиях во Франции, Германии, США, Румынии, Китае и других странах, куда судьба разбросала соотечественников.

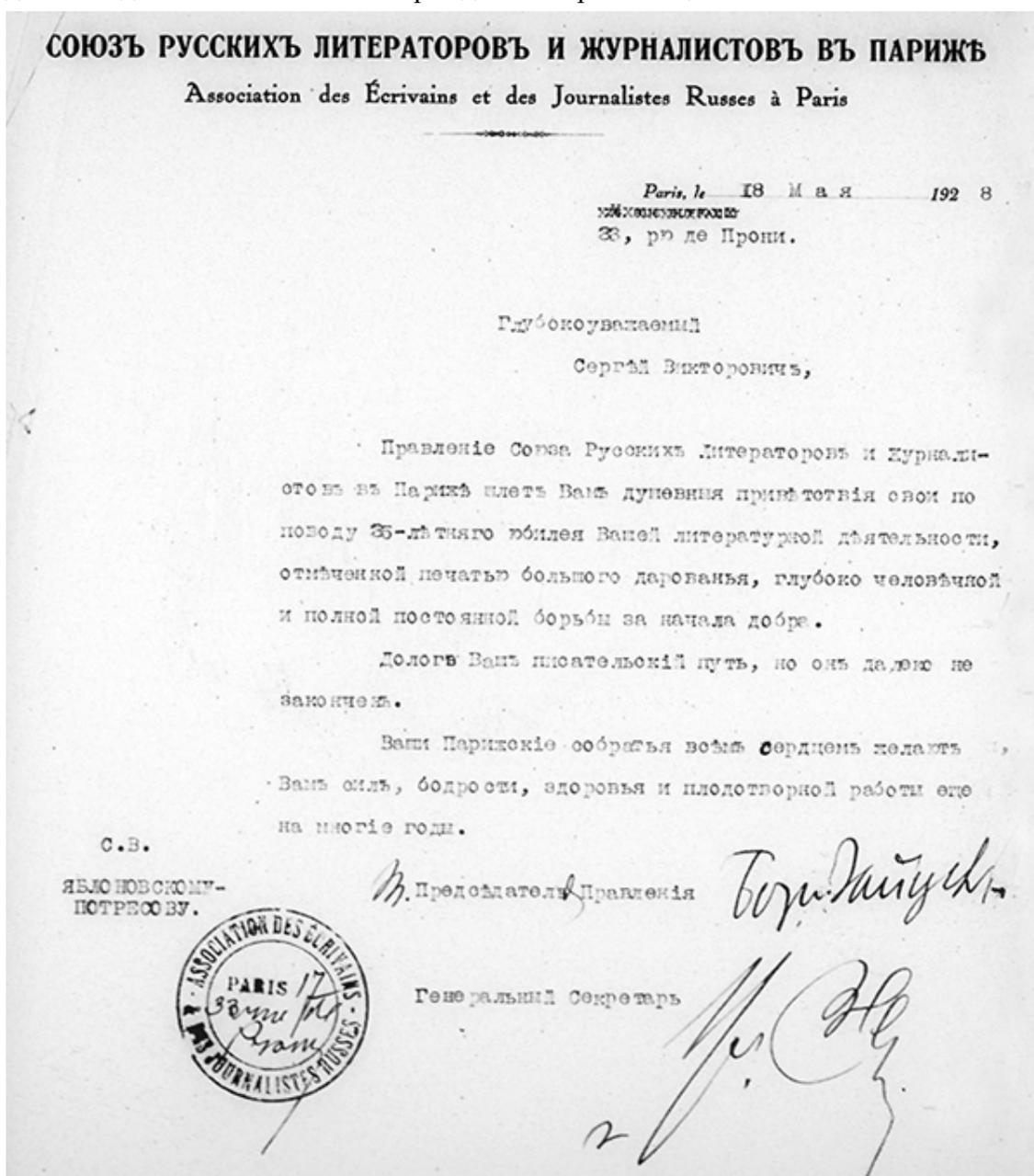
Многочисленные ныне материалы, посвященные жизни русских эмигрантов во Франции, наглядно показывают, как менялось к ним отношение приютившей стороны. Если в двадцатые годы прошлого века разбогатевшая в результате Версальского мира страна со снисходительным романтизмом любопытствовала в отношении русской культуры и интересовалась жизнью изгнанников, представителей этой культуры, то уже в тридцатые интерес к ним упал. Связано это прежде всего с тем, что деловые и политические круги все более были заинтересованы в связях с СССР, а эмигранты становились досадной помехой, вызывающей раздражение советских вождей и, как следствие, сотрудничающих с ними кругами принявшей стороны. Но было и нечто другое: представьте, к вам приехал даже очень интересный гость, с которым хочется общаться, узнать о нем побольше. Но вот гость прижился, и вы все яснее чувствуете дискомфорт. Французам поначалу была интересна самобытная русская культура, привнесенная эмигрантами, но за годы изгнания они, что называется, приелись, а большинство из них и вовсе утратили признаки той русской культуры.

К концу тридцатых годов намечается естественная убыль в среде русских эмигрантов, однако сокращается и социальная поддержка оставшейся части. С. В. Яблоновский с горечью писал, как молодые люди, вывезенные в детстве из России, а в особенности появившиеся на свет в русских семьях во Франции, теряют интерес как к культуре предков, так и вовсе к русскому языку.

Одновременно и реалистически мыслящие эмигранты окончательно оставляют надежду на возвращение в Россию: «А здесь снова, – пишет в 1937 году С. В. Яблоновский, – готовы задавать и задают сделавшийся уже постыдным вопрос:

– Сколько еще времени?..

Вопрос, заставляющий бросаться в лицо краску стыда, потому что больше попадать пальцем в небо, чем мы попадали, пророчествуя на эту тему, невозможно. Вспоминаются три факта. В конце, кажется, восемнадцатого года, бежав уже из Москвы на Украину, я, читая публичные лекции, попал в Бахмут, родной город П. И. Новгородцева, профессора, одного из основоположников кадетской партии, выдающегося общественного и политического деятеля и прекрасного человека. Тогда намечалась какая-то интервенция, и Новгородцев сказал мне: «Помяните мое слово: в первый день Рождества мы встретимся с вами в Москве». Первый день Рождества – это значило через два или три месяца.



Поздравление Союза русских литераторов и журналистов в Париже, 1928

Очень скоро после этой встречи мне пришлось бежать и из Малороссии в Одессу. В первый день, как раз в первый день Рождества, подхожу я к одесскому вокзалу и вижу, как по ступенькам его спускается П. И. Новгородцев.

– Павел Иванович! С какой точностью вы определили день, в который мы с вами встретимся!

Грустной улыбкой ответил он на мою грустную шутку и после паузы сказал:

– Да, на первый день Рождества... только не в Москве, а в Одессе.

В африканской пустыне в моем альбоме появилась следующая запись:

“Предсказание: в августе нынешнего 1920 года будем ловить в Днепре
язей. Александр Яблоновский.
Тель-эль Кебир, 16 июня 1920 г.”

А в ноябре того же двадцатого года, приехав в Париж, я беседовал с Ильей Исидоровичем Фондаминским <...> и сказал, что падения большевиков нельзя ожидать раньше, чем через три года. Фондаминский, смеясь, замахал руками:

– Что вы! Что вы! Самое большее – через полгода.

С тех пор прошло семнадцать лет...».

25 марта 1921 года Яблоновский прочитал свою первую лекцию в Париже «Русские писатели и русская революция». Позже он множество раз выступал здесь с лекциями о русских писателях и артистах, а также об известных и малоизвестных русских благотворителях, постоянно призывал помогать немощным, больным, подписывал в связи с этим воззвания «Русским зарубежным людям».

Яблоновский с одинаковым энтузиазмом произносил речи на Дне поминовения погибших в борьбе с советской властью (1928, 3 ноября), вечерах в честь В. Г. Короленко (1922, 29 января и 18 февраля) и М. Ю. Лермонтова (1940, 28 января), на чествовании памяти В. Ф. Комиссаржевской перед спектаклем в «Интимном театре Д. Н. Кировой» (1939, 23 марта), на банкетах в честь примы театра «Габима» Ш. Авивит (1924, 9 июля), 25-летия литературной деятельности Б. К. Зайцева (1926, 12 декабря) и В. Ф. Ходасевича (1930, 4 апреля).

В Русском народном университете 29 ноября 1922 г. он сделал доклад об актерах Художественного театра «Буйные сектанты». А в «Очаге друзей русской культуры», в создании которого, к слову, Яблоновский принимал активное участие, 12 ноября 1927 года он читал публичную лекцию «Гамлет» – русская пьеса. Гамлетизм – русская трагедия. Театральные и нетеатральные воспоминания по поводу «Гамлета»».

В 1931 году русские эмигранты попытались возродить журнал «Сатирикон»⁸. М. Г. Корнфельд собрал в Париже группу бывших сатириконцев, к которым примкнули и другие деятели искусства, и снова начал издавать журнал. В выпуске первого номера возрожденного «Сатирикона» (апрель 1931 г.), наряду с В. Л. Азовым, И. А. Буниным, В. И. Горянским, С. Горным (А. А. Оцуп), Дон-Аминадо (А. П. Шполянским), Б. К. Зайцевым, А. И. Куприным, Lolo (Л. Г. Мунштейн), С. Литовцевым, Н. В. Ремизовым, Сашей Черным, принял участие и С. В. Яблоновский. Художественный отдел составляли А. Н. Бенуа, И. Я. Билибин, А. В. Гросс, М. В. Добужинский, К. А. Коровин и др. В конце 1930-х годов С. В. Яблоновский подготовил к печати книгу «Карета прошлого», сохранились даже отдельные страницы гранок с правками деда. В названии книги он использовал слова Сатина из 4-го действия пьесы Максима Горького «На дне», грустно подразумевая, что в карете прошлого далеко не уедешь (в оригинале: «В карете прошлого никуда не уедешь») и что новому времени должны соответствовать новые формы жизни, способы действия, что нельзя жить старыми заслугами или старыми воспоминаниями, надо действовать здесь и сейчас. В книгу вошли воспоми-

⁸ Еженедельный сатирический журнал (1908–1913), издавался с 3 июня 1908 г. М. Г. Корнфельдом. Главный редактор – А. А. Радаков, с № 9 – А. Т. Аверченко.

нения об ушедшей России, театре, актерах, писателях, художниках, общественных и политических деятелях, меценатах. Тираж книги был напечатан в Эстонии буквально накануне советского вторжения. По много раз повторяемым в разных изданиях словам Яблоновского, тираж книги был уничтожен, а издатель арестован и расстрелян.

Сохранились фрагменты «Кареты прошлого» – очерки-эссе о Мариэтте Шагинян, промышленнике С. И. Мамонтове, актерах Художественного и Малого театров и другие.

Примерно в это же время Яблоновским был подготовлен к изданию сборник стихов, выходу которого помешала начавшаяся Вторая мировая война. К счастью, рукопись сборника сохранилась полностью.

В Париже состоялось примирение Яблоновского со своими эстетическими «противниками» по Московскому литературно-художественному кружку: «С тех пор много воды утекло; В. Ф. Ходасевич из “дерзящего” гимназиста превратился в большого поэта, талантливого литературного критика и одного из самых выдающихся пушкинистов; мы сохранили друг к другу полное уважение. Как я уже сказал, такое же отношение сохранилось и к нашей общей приятельнице, прекраснейшей женщине, эпатировавшей тогда бурлящую часть кружковской публики.

Бальмонт писал мне:

"Мне радостно приветствовать того,
Кто в младости сказал мне: "поджигатель!"⁹,

и – человек нежной и чистой души – заключил стихи пожеланием оказаться на родине: “Чтоб видеть красоту Горящих Зданий”...

Это казалось бы тяжелой закоренелостью, если бы не было меняющей весь смысл заключительной строки:

“Горящих Солнцем и огнем Креста”.

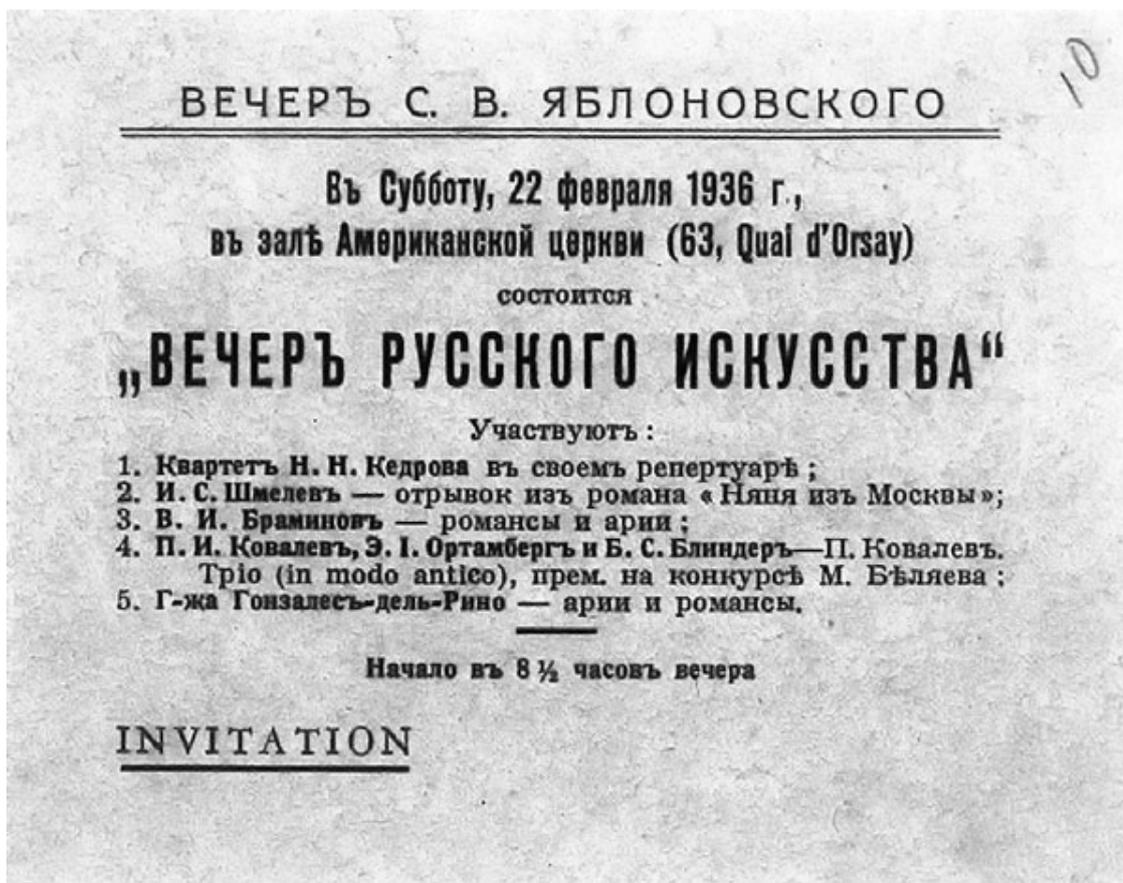
Оказался я – и об этом теперь мне так радостно думать – другом и М. А. Волошина, с которым у меня была стычка более острая, чем с другими.

Схлынула муть, и никакого “рва” засыпать не пришлось, так как его и не было».

Война и раскол в русской эмиграции

С началом войны поддержка оставшихся русских практически прекратилась, исчезла возможность хоть каких-то заработков. Как Яблоновскому, страдавшему в те годы множественностью болезней старику, удалось пережить это время, остается для меня загадкой. Со свойственным публицисту юмором, он пишет в дневнике, как осуществлялась во Франции социальная помощь беженцам: «... я не думал, что мне надо документировать своих болезней, которых у меня более чем достаточно, но на всякий случай захватил с собою радиограмму легких, удостоверяющую наличие туберкулеза и диаграмму аорты, с которой тоже неблагополучно. Принял меня, как и других, просивших о карте, молодой человек, который по возрасту вряд ли может быть врачом; прием был буквально молниеносный, как мне пришлось наблюдать это однажды в другом госпитале.

⁹ Эти стихи незадолго до смерти К. Д. Бальмонт посвятил Яблоновскому (они в Капбретони записаны в альбоме С.В.Я.). На самом деле строфа звучит так: «Коль враг стал друг, вдвойне ценю его, // Вдвойне тогда сверкнул мироздатель, // Мне радостно приветствовать того, // Кто в младости мне крикнул “Поджигатель!”».



Приглашение на вечер С. В. Яблоновского в Париже, 1936

– Чем вы больны?

– У меня грудные болезни: астма, эмфизема, хронический процесс и вызываемые ими частые катаральные пневмонии.

Он не дал мне закончить:

– Мы больным легкими карточек <на получение молока. – В. П.> не выдаем.

– А чем надо для этого болеть?

– Сердцем.

Я обрадовался и предложил вторую радиограмму. Он взглянул на нее и заявил, что этого недостаточно. Не знаю, нужно ли ему было, чтобы я напился молока только перед самой смертью, и карты я не получил».

Несмотря на тягостные недуги, во время войны у деда возник роман с Наталией Давыдовой, женщиной, моложе его на 27 лет, которой он начиная с 1943 года посвящал стихи, а в 1945 году, в возрасте семидесяти пяти лет, Яблоновский женился. Мне не удалось узнать ничего о семье его второй супруги, известно лишь, что ее мать, Лидия Николаевна Давыдова, урожденная Мамич. Наметившийся в послевоенные годы раскол в среде эмиграции оправдан тем, что большинство изгнанников, оставаясь патриотами России, безусловно, гордились победой русского народа во Второй мировой войне. Многие, в том числе и Бунин, были настолько очарованы этим событием, что готовы были простить больше – викам ужасы революции, коллективизации, политических репрессий и вернуться в «обновленную» Советскую Россию.

Впрочем, и в Советском Союзе многие великие умы надеялись на «очистительные процедуры», которые, как они предполагали, несла вместе со всеми ужасами война. Об этом,

в частности, пишет и Борис Пастернак в заключительной части романа «Доктор Живаго»; народ ведь кровью своей доказал верность советской власти.

Яблоновский оставался реалистом и не верил в «перековку» правящей коммунистической элиты. Когда в Париже с 1945 года на волне просоветских настроений начал выходить еженедельник «Русские новости», основанный А. Ф. Ступницким, а с осени 1946 года в нем начал сотрудничать отдавший дань этим веяниям Георгий Адамович, С. В. Яблоновский, отражая реакцию антибольшевистской части эмиграции, написал в эпиграмме на первую строку публикации Адамовича в первом номере еженедельника:

«Пишите лучше, пишите чище,
Пишите по совести...
И поселился в достойном жилище,
Где насыщают здоровой пищей,
И Патриоты¹⁰ и Русские новости¹¹.
Так повелось, что “лучшие” нас
Беречь убеждают морали сокровища;
Так было прежде, так есть сейчас,
Так от Адама до Адамовича».

По той же причине в послевоенное время изменились отношения между Сергеем Яблоновским и Иваном Буниным. Оставаясь твердым противником советского режима, Яблоновский опубликовал в «Русской мысли» фельетон под названием «Ему, Великому», в котором в ироничной форме обличал колебания забронзовевшего Бунина, связанные с его интригами по поводу возвращения в СССР. О прежней непримиримости Бунина к власти большевиков и напомнил Яблоновский в этом памфлете. Но не только об этом. В статье «Мой ответ Бунину», следовавшей за фельетоном, Яблоновский говорил о «всегдашнем презрительном отношении Бунина к писателям» вообще, сравнивая его с гоголевским персонажем, для которого в городе был лишь один порядочный человек.

¹⁰ Имеется в виду газета «Русский патриот», орган Союза русских патриотов во Франции. П., 1943–1944 гг. № 1–13; 1944 г., окт. – 1945 г., 17 марта. № 1–21. Далее газета «Советский патриот».

¹¹ Газета, под ред. А. Ф. Ступницкого (1945–1951), М. Бесноватого (1952–1970). П., 1945 г., 18 мая – 1970 г., 13 ноября № 1–1288.



С. В. Яблоновский, Капбретон, 1942

Любопытно то, как одинаково эти события трактуются в постсоветское время даже теми критиками, которые считают себя либералами и борцами с «душным» советским режимом. Некий В. В. Лавров¹² пишет в 1989 году – коммунистические идеи тогда еще никто не отменял, и надо было держать ухо востро – следующее¹³: «...Но “шахматная партия” продолжалась. В парижской “Русской мысли” появился очередной разнос Бунину – некий С. В. Яблоновский обвинял его в “большевизанстве”. Эта статейка была перепечатана в США и снова имела большой резонанс.

– Что эти типы хотят от меня? – вопрошал Иван Алексеевич. Но его единственный слушатель – жена, на этот вопрос ответить не умела. – Ведь это настоящая травля! Мстят за посещение посольства на рю де-Гренель, за встречи с Симоновым, за симпатию, наконец, к Советской России...

Почти без надежды быть услышанным, написал просьбу Цвибаку: напечатать его, Бунина, ответ на статью Яблоновского. Хотя уже понял: в США публикуют какую угодно клевету против него, но не печатают ни строки возражения или даже оправдания.

¹² Лавров, Валентин Викторович (р. 1935) – писатель, автор детективов о графе Соколове.

¹³ Лавров В. В. Холодная осень. Иван Бунин в эмиграции 1920–1953 гг., роман-хроника. М., 1989. С. 352–353.

Но Цвибак и те, кто находился за его спиной, держали наготове надежный кляп: «Если будешь жаловаться – прекратится наша помощь, помрешь с голоду».

Сам Я. М. Цвибак с неприсущей ему простодушностью проговорился в своих мемуарах: «Я начал уговаривать Ивана Алексеевича письмо не печатать – прежде всего потому, что весь тон его ответа был несдержанный и на читателя мог произвести тяжелое (?) впечатление. Было у меня и другое соображение. В этот момент я был занят систематическим сбором денег для Бунина, нужда которого не знала границ, и мне казалось, что такого рода полемика в газете многих против него восстановит (!) и в конечном счете повредит ему не только в моральном, но и в материальном отношении».

Одним словом, бьют и плакать не велят!»

Слова «статейка», «некий» и прочее совершенно определенно указывают отношение автора к Яблоновскому, но, если вспомнить широко опубликованные дневники Бунина «Окаянные дни», где он какими только словами не костерит советскую власть, как он только не несет «Алешку Толстого» за раблепство перед этой властью, становится очевидным недомыслие последовательной части русской эмиграции по отношению к политическому хамелеону.

В интервью Николаю Аллу (июнь, 1940) Владимир Набоков говорил, как бедствовали эмигранты в начале войны: «Бунин еще имеет некоторые средства, но Мережковские живут в большой нужде, как и почти все остальные русские эмигранты». Лишения и бессмысленность существования раскололи эмигрантское сообщество. Из писем и дневников, относящихся к послевоенному периоду, очевидно, что писатель всерьез обдумывал возможность возвращения в Советский Союз. И пусть не сочиняет некий В. В. Лавров: в письме к журналисту Андрею Седых (Якову Цвибаку) 18 августа 1947 года Бунин оправдывался относительно своего посещения советского посольства и разрешения печатать произведения в СССР.

Так вот, по поводу оценки той ситуации постсоветской литературной братией. Например, А. К. Бабореко, в терминологии советской литературной критики при оценке «чуждых» произведений, называет упомянутую публикацию Яблоновского «пасквилем», «зловным фельетоном», «позорной выходкой». Существенная разница в возрасте, о которой с присущей ей иронией писала Буниной Тэффи, не помешала установлению нежных отношений между Сергеем Викторовичем и Наталией Ивановной Давыдовой, которая взяла себе в качестве фамилии псевдоним С. В. Потресова. На все оставшиеся ему годы она оказалась верной подругой и помощником старого литератора. Об этом пишут многие из тех, кто знал семью Яблоновских в конце 40-х – начале 50-х прошлого века.

Сергей Викторович тяжело болел, однако находил в себе силы писать публицистические статьи и даже стихи. Наталия Ивановна работала машинисткой. Это давало возможность оплачивать квартиру в Булони, ближайшем пригороде Парижа, и как-то кормиться.

В 1946–1947 годах Яблоновский входил в правление воссозданного Союза писателей и журналистов в Париже, был членом Объединения русских писателей во Франции, писал очерки и статьи для «Нового русского слова», «Возрождения», «Русской мысли», в первом номере которой (19 апреля 1947 года) вышло его стихотворение «Я не видел тебя, дальняя Россия...».



Поздравление с Пасхой от И. С. Шмелева, Париж, 1949

Умер Сергей Викторович Яблоновский 6 декабря 1953 года, незадолго до этого перейдя 83-летний рубеж. Печальное событие было отмечено в русской эмигрантской прессе, где Яблоновский упоминался как патриарх русской журналистики, отдавший ей более 60 лет жизни. Он служил, как писал о нем в 1928 году Вас. Ив. Немирович-Данченко, словно «...

верный солдат в светлой рати добра, свободы и красоты, ни мыслью, ни делом, ни одним помыслом, ни одною строкою не изменили своему Знамени». Похоронили С. В. Яблоновского 10 декабря 1953 года на Русском кладбище в Сен-Женевьев-де-Буа. На дубовом¹⁴ кресте скромная металлическая дощечка с текстом:

**ЛИТЕРАТОРЪ
СЕРГ#Й ВИКТОРОВИЧЪ
ЯБЛОНОВСКІЙ-ПОТРЕСОВЪ
1870–1953
YABLONOVSKY-POTRESSOFF**

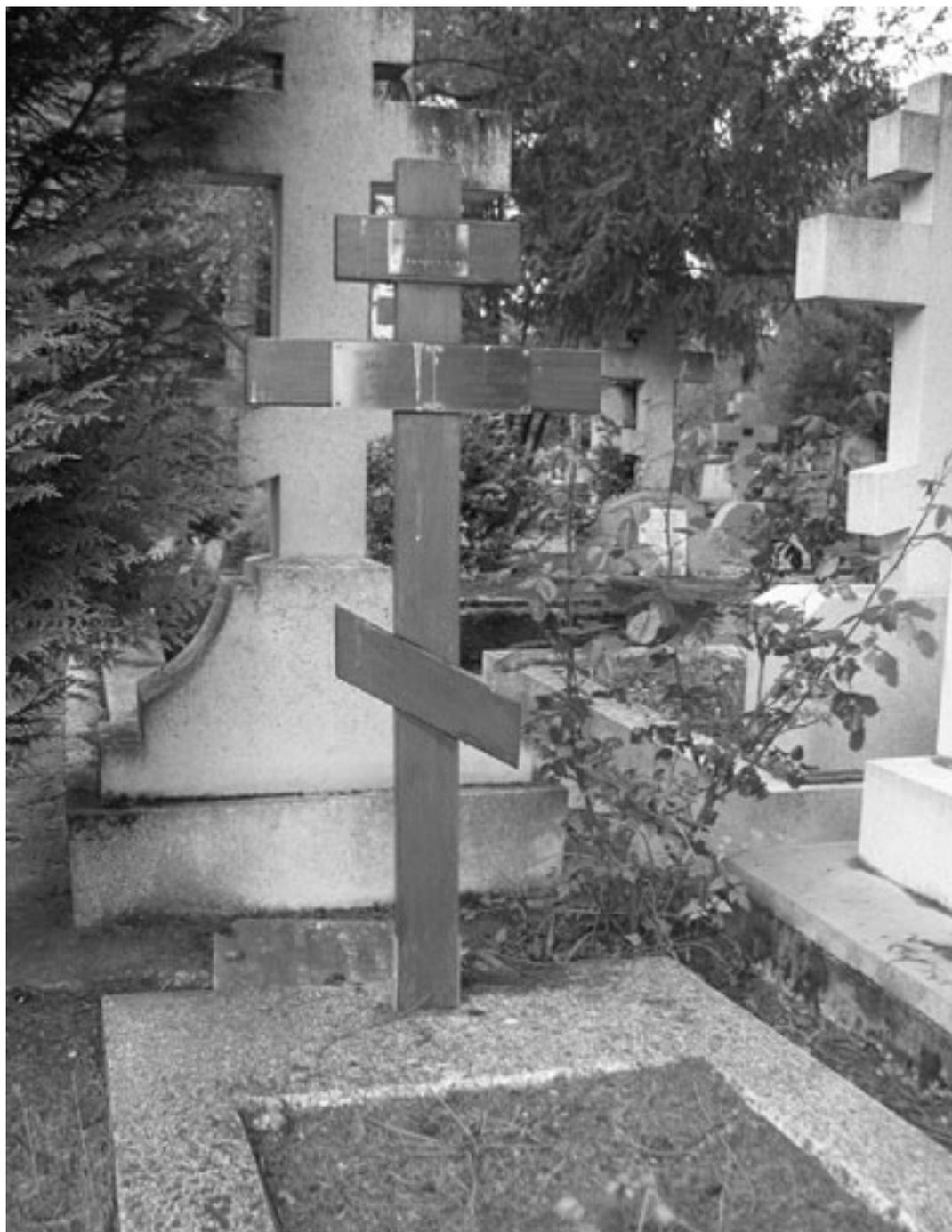
В конце апреля 2009 года мне впервые довелось побывать в Париже. Оставили машину на стоянке возле главных ныне ворот кладбища, где, как и у нас, шла бойкая торговля цветами, могильными памятниками и прочими неизменными атрибутами грустного дела.



¹⁴ Под этим же крестом похоронены мать Н. И. Яблоновской-Потресовой, Лидия Михайловна Давыдова, урожденная Мамич (1865–1943), и Наталия Ивановна Яблоновская-Потресова (1897–1978).

На могиле деда, 2009

Вход на старое кладбище – напротив храма в стиле древнего новгородского зодчества, выстроенного по проекту Бенуа. Здесь не столь многолюдно, группируются туристы. Русских не так и много, они удивленно ахают, читая на могильных крестах фамилии тех, кого, например, «проходили» в школе, – удивительное сплетение времен и памяти. В небольшой конторе при храме молодой вежливый служитель, с русской бородой, в очках и черной рясе, быстро нашел нужную могилу на главной аллее, справа, не доходя Галлиполийского памятника, напротив могилы Мстислава Добужинского. Все было так, как я видел на случайно полученной из Санкт-Петербурга фотографии, даже еловая шишка лежала в том же месте. Но, несмотря на стерильную ухоженность, которой отличаются все могилы в этом уникальном некрополе, чувствовалось, что с момента последнего погребения здесь не было никого из близких. Да и откуда им взяться?



Могила С. В. Яблоновского, Сен-Женевьев-де-Буа, 2009

Мы с попутчиком вернулись в цветочную палатку, на смеси европейских языков объяснили обаятельной француженке, что желаем посадить цветы на могилу моего grand-père, причем такие же, как те, что растут в России, и чтобы цвели не один год. Мадам даже доверила инструмент – совочек! – и мы, прихватив привезенную для поминовения из России «Столичную», занялись благоустройством могилы.

Проходившие туристы с интересом и, похоже, с пониманием наблюдали за нашим трудом.

С. А. Долгополова «Как взрослые печальны...»

«От долгой с вами заочной жизни я от вас отвык. Поэтому в гости вас приглашаю дышать свежим воздухом и жить в саду. Но сердца моего с вами делить не буду», – так написал своим детям 84-летний дед Моисей за три года до смерти. Из двенадцати детей Агриппины Федоровны и Моисея Николаевича Макушкиных до зрелых лет дожили только трое: моя мама, ее сестра Анастасия и брат Алексей, вернувшийся с войны капитаном, пройдя в пехоте от Вязьмы до Берлина. Еще двое сыновей пропали без вести в первые месяцы войны. Остальные семеро умерли в отрочестве.

В сентябре 1947 года, после смерти моего отца, военного летчика, мама осталась с двумя детьми: моему брату Геннадию было десять лет, а мне еще не исполнилось и года. Из Кировабада, где в авиационном полку служил отец, мама переехала к родителям на Дон. Станция Чир, находящаяся рядом с Волго-Донским каналом, после войны стала обителью стариков, калек, вдов и детей. Сказать прямо, не самое лучшее место проживания для молодой женщины со стройными ногами, как у голливудских красавиц. Через несколько лет мама переехала в Рыбинск, чтобы помочь брату, когда он после окончания техникума стал работать там на судостроительном заводе. А я осталась у бабушки с дедушкой.



Мои родители с братом Геннадием, 1940

Из детворы, кроме нас с братом, в доме деда жили мой двоюродный брат Жорка (его отец пропал без вести, а мама умерла), Люда и Толя, для которых тетя Настя стала приемной матерью, выйдя замуж за их овдовевшего отца. Нам не приходилось скучать, но все-таки это было всеобщее сиротство. В пятилетнем возрасте меня поражал печальный вид взрослых. Я даже помню, как через мое детское сознание проходят слова: «Как взрослые печальны, как

взрослые печальны, наверное, у них что-то случилось». Потом кто-то из старших рассказал, что совсем недавно была большая война, что степи вокруг были покрыты мертвыми телами защитников и врагов, что их вынуждены были вместе стаскивать в балки, так как у оставшихся в живых не было сил хоронить их по отдельности. Было страшно. Но кроме того, меня почти никогда не покидал какой-то мистический страх. Мне не давал покоя вопрос: «Зачем люди живут?» До четырех лет я не говорила, не произнесла ни единого слова. Боялась, что если заговорю, то взрослые могут задать мне этот вопрос, а я не знала ответа. Спросить их самих тоже боялась: вдруг они сами этого не знают. Тогда все будут ввергнуты в смущение. Мама была уверена, что я останусь немой, но все-таки повезла меня к какому-то врачу в Сталинград. Врач, рассмеявшись, сказал: «Все будет в порядке».



Отец за две недели до смерти (шестой слева), Кировабад, 1947

Когда мне было четыре с половиной года, мы поехали в Сухуми к брату моей мамы, дяде Леше. Офицерские семьи жили в маленьких, барачного типа домиках на берегу горной речки. Там оказалась целая ватага детей, моих сверстников. Все они с утра до вечера были предоставлены сами себе и пребывали в каком-то оголтелом состоянии.

Глядя на них, я подумала: «Похоже на то, что их никто и не спрашивал, зачем живут люди». Взрослые предупредили детвору, что я не умею говорить и что ко мне нужно относиться бережно. В один из дней я увидела, как дети купают в реке маленького рыжего котенка. Несчастный громко кричал. Я бросилась к жене моего дяди:

– Тетя Вера, можно ли купать в реке котенка?

– Как? Ты говоришь? – удивилась она. Котенка у детей отняли, и они решили, что я притвора. С тех пор я стала говорить.

Когда мы, вернувшись, поднялись по ступенькам дедушкиного дома, я вновь приготовилась замолчать. Родственники сидели за столом в сумерках. От только что сваренного картофеля валил пар. Помните едоков картофеля Ван Гога? У меня внутри поднялся столб стыда до самого неба, а в голове появились слова: «Неужели я смогу скрыть от них, что на свете есть море, солнце и сочные груши?!» – и, переступив порог, сказала:

– Здравствуйте!

Однако вопрос о смысле жизни оставался для меня нерешенным. Когда я узнала от старшего брата о печальной судьбе поэта Маяковского и услышала его слова «И жизнь хороша, и жить хорошо!», то поспешила спросить у мамы: «Зачем же он тогда застрелился?»

Судьба поэтов волновала меня не единожды. В марте 1963 года я узнала из газет о встрече Хрущева с деятелями литературы и искусства. На уроке труда, проходившем в мастерской на школьном дворе, я высказала одноклассникам свою позицию: глава государства не может руководить работой поэтов и писателей, так как они – творцы, а для творчества нужна свобода. Мои слова случайно услышал директор. Он вызвал дедушку на ковер. Возвратившись домой, дед не сказал мне ни слова. Он предоставлял детям полную свободу развития.



Я (слева) с бабушкой и сестрой, 1948

Нам он рассказывал чаще всего о своем дореволюционном прошлом. Он также помнил рассказы своего деда, уходившие в глубь истории до 1840 года. В 1905 году донской казак Моисей Макушкин проходил действительную службу в Петербурге. Во время известных событий его, новобранца, оставили в казарме, но он видел, как казаки жестоко избивали без-

защитных рабочих. Это до глубины души потрясло его: он потерял веру в Бога. Вернулся на родную землю другим человеком, с жадной справедливости и равенства для всех. Во время Гражданской войны двое из братьев Макушкиных оказались у белых, двое – у красных. В числе последних был и мой дед Моисей. Его двоюродный брат говорил бабушке: «Ну, Груня, поймаю Моисея – запорю у тебя на глазах». Когда было восстание казаков в станице Суворовская, деда схватили как помощника красного командира и посадили в тюрьму в станице Нижне-Чирская. Там он был помещен отдельно от остальных членов отряда и по ночам слышал, как их расстреливали. Потом его под конвоем отправили в Сальские степи к Мамонтову. Конвоирами оказались два его бывших однополчанина (по действительной службе). Давшие совместную присягу казаки на всю жизнь сохраняли особое родство, наверное, поэтому деду было сказано, что его отпускают на расстояние пятисот шагов, а потом будут стрелять. Деду удалось остаться в живых. В ту мартовскую ночь «вскрылась» река. Тетя запомнила, каким мокрым и обессиленным пришел в дом ее отец. Двоюродная сестра деда была замужем за атаманом. Благодаря этому обстоятельству бабушка раздобыла для себя пропуск, положила деда в телегу, накрыла соломой и повезла в Суворикино. Там стояли эшелоны Ворошилова. Так дед стал пулеметчиком на ворошиловском бронепоезде.



Моисей Николаевич Макушкин

Бабушку из-за того, что дед был у красных, хотели расстрелять. На нее указал один из казаков. Другой казак, дедов однополчанин, вступился: «Нет-нет, он ушел с нами, просто

жена не знает, где он». Спустя годы деду сообщили имя того, кто хотел отправить бабушку на расстрел. Дед побелел и сказал: «Пойду его убью». Бабушка повисла на муже: «Моисей, было так много крови, я осталась жива, зачем же еще проливать кровь?!» Вскоре этот человек, чуть было не ставший жертвой возмездия, покинул родные места – боялся деда.

Конечно, дед не мог не замечать того ужаса и беззакония, которые творились вокруг после установления советской власти. Его борьба за справедливость, за устройство новой жизни обернулась страшной трагедией. Можно только представить, что он испытывал, когда началось «раскачивание», когда людей целыми семьями сталкивали в балки, не позволяя никому к ним подойти и даже бросить несчастным кусок хлеба. Тетя рассказывала, как со станции в вагонах, в которых раньше перевозили скот, отправляли казаков в Сибирь. Оттуда доносилась песня «Страна ты моя, сторонюшка...»

В 1937 году дедушка руководил элеватором. Его арестовали. Бабушка поехала разыскивать его в Сталинград. И снова, по странному стечению обстоятельств, на помощь пришел дедов бывший однополчанин по действительной службе, которого бабушка случайно встретила в городе. Он стоял во главе НКВД бывшего Царицына. Через какое-то время дед вернулся, но никогда никому не рассказывал, что с ним произошло. Взрослые также хранили тайны других людей. Например, только спустя годы, уже в Москве, моя престарелая тетя поведала мне историю про Саломатиху.



Дядя Леша, донской казак, 1947

Через двор от нашего большого деревянного куреня стояла мазанка, глиняное сооружение с камышовой крышей. Там жили две женщины. Одна из них, Саломатиха, работала на железной дороге, клала шпалы. Помню ее грубый голос и кулаки, как гири. Другая – Вера Васильевна, полная противоположность первой. Тонкокостная и элегантная, как я бы сказала теперь. Саломатиху я панически боялась и обходила стороной, особенно после ее «расправы» с нашими гусями. Дело в том, что соседи призывали Саломатиху, когда нужно было забить какую-нибудь домашнюю живность. Я, разумеется, не прикоснулась к мясу гусей, за лето ставших моими друзьями. В детстве я всегда удивлялась внешнему и внутреннему несходству этих двух женщин, которых принимала за сестер. Но тетя уже в Москве рассказала мне, что они вообще не состояли в родстве. Муж Саломатихи во время германской войны служил денщиком у командира полка, мужа Веры Васильевны. Потом они вместе добирались до Новочеркасска, чтобы примкнуть к белым. Командир полка оставил свою жену на попечении Саломатихи. Они надеялись в скором времени вернуться в прежнюю Россию. «Ты должна относиться к ней как к сестре», – наказал денщик своей жене. Мужчины ушли, и больше от них не было вестей. А Саломатиха и Вера Васильевна так и прожили вместе всю жизнь. Вера Васильевна занимала горницу, переднюю часть мазанки, где было много икон и куда приезжал священник тайно служить литургию. Во время этой службы многие причащались.



Подготовка к 1 мая в парке, 13 лет, 1960

Дед, повторю, утратил в молодости веру в Бога, а бабушка была очень набожна. В начале войны местные жители переправлялись через Дон на неоккупированные территории и эвакуировали технику, в том числе сельскохозяйственную. Бабушка рассказывала, что немцы бомбили переправу в Калаче, кругом гибли паромы, а она в это время непрестанно молилась.

Дед Моисей не раз корил бабушку за ее «нищелюбие». Действительно, в послевоенное время она как могла подкармливала и помогала всем, кто нуждался. Эта черта передалась

и моей маме. Непростительным поступком с ее стороны, по словам деда, было отдать свое теплое синее пальто тетке, дедушкиной сестре. По стоимости пальто в то время приравнивалось чуть ли не к машине. Помогала мама и некоей Тане – банщице. У нее было трое детей. Муж во время войны пропал без вести, поэтому семья не получала «аттестат», то есть пенсию, и очень бедствовала. Когда я впервые от мамы услышала выражение «пропал без вести», я буквально захлебнулась от ужаса: не просто умереть, не просто погибнуть, а пропасть, да еще – без вести! А узнала я о жизни Тани-банщицы от мамы вот при каких обстоятельствах. Однажды утром я не увидела своей любимой шубки на гвоздике, где она обычно висела, и сказала маме:

– На гвоздике нет моей шубки.

– Прости, я не успела тебе сказать, что отдала ее детям Тани-банщицы, – ответила мама и сообщила мне историю их семьи.

– Скажи им, чтобы они любили эту шубку, – попросила я.

Позже, когда на том же гвоздике появилась маленькая вешалка с моим новым костюмчиком (кофточка горчичного цвета и юбка в желто-коричневую клетку), я стала готовить себя к неизбежному будущему: «Только бы не очень полюбить их, потому что скоро мама отдаст их Тане-банщице».

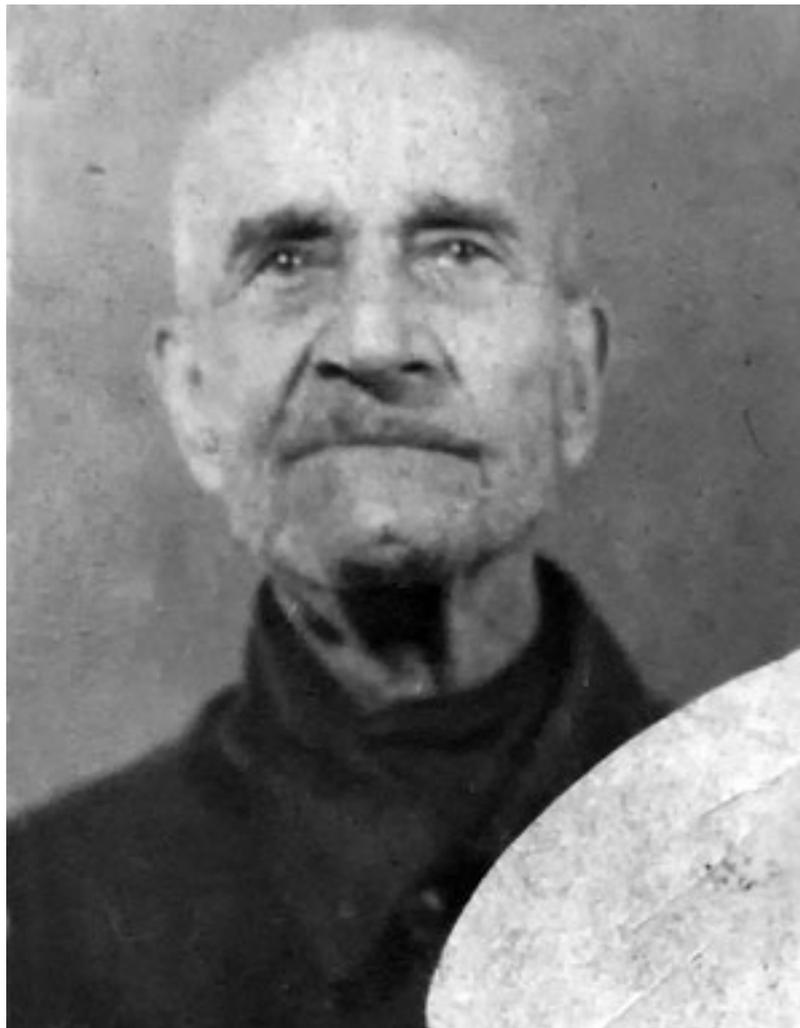
Вбитые в стену гвозди характеризуют весьма скудную обстановку дедовского дома. Несколько кроватей, столы, стулья. Во время войны, когда семья деда была в эвакуации, в доме жило мелкое немецкое командование. У них была ванна. После войны дед сделал из нее основной поливальный узел: набирал в нее холодной воды из колодца, она потом грелась на солнце и растекалась по земляным канавкам в грядки.

Но, несмотря на суровый быт, в доме умели веселиться: пели песни, плясали, шутили. У каждого был набор метких слов, прозвищ. Помню какую-то старушку с запрокинутой головой. Когда она появлялась на улице, дед Моисей шутил: «Опять прошла подлодка». Дедушка сохранял жизнелюбие и тогда, когда бабушка слегла в постель. Последние восемь лет жизни она не могла двигаться, так как у нее были сведены руки и ноги. Чтобы ее переложить, нужно было одному человеку брать ее под ноги, а другому – за спину. Дед Моисей, которому тогда было семьдесят с лишним лет, все эти годы подходил к ней каждые полчаса, чтобы подбодрить, стереть со лба пот, подать лекарство, да и просто поговорить. Дедушка воспринимал это не как наказание или нагрузку, а как радостное служение жене. Дом всегда был полон детьми: внуками и их многочисленными друзьями, которые порой приходили только для того, чтобы посмотреть, как дед Моисей заботится об Агриппине Федоровне. В детских глазах читалась какая-то глубокая нескрываемая почтительность.



Семь лет работы в музее-усадьбе Мураново, 1978

Сердечная потребность любить не оставляла дедушку и после ухода жены. Всю свою любовь он перенес на меня. Учась в институте, я всегда приезжала к деду на каникулы. Через два дня после приезда он говорил мне: «Сядь, посиди со мной. Начну с этой минуты с тобой прощаться. Иначе после твоего отъезда у меня разорвется сердце».



Дед Моисей в последние годы жизни

В 1990 году мне посчастливилось побывать в Париже и познакомиться с эмигрантами первой волны. Среди них был «дроздовец», образованнейший Владимир Иванович Лабунский. Работая таксистом, он собрал огромную библиотеку эмигрантских изданий. Стены его небольшой двухкомнатной квартиры были увешаны фотографиями соотечественников, прошедших Гражданскую войну. Самым большим был портрет А. В. Колчака. Среди прочих раритетов – шашка. Я спросила:

– Владимир Иванович, а за что вы воевали?

Он посмотрел на меня с недоумением:

– Как за что?! За Учредительное собрание!

И тут я с предельной остротой почувствовала всю драматичность их судеб – Лабунского и моего деда Моисея, всю бессмысленность и слепоту Гражданской войны. На миг в окнах парижской квартиры показались жалкие мазанки, среди которых прошло мое детство, и выжженная солнцем степь. «Как взрослые печальны, как взрослые печальны, наверное, у них что-то случилось...»

Т. Л. Жданова От любви до ненависти...

*Написано рукой Гуго Баскервиля для сыновей Роджера и Джона,
и приказываю им держать все сие в тайне от сестры их, Элизабет.
Конан Дойл «Собака Баскервиль»*

Если рассказывать о нашей семье, то надо начинать, конечно, с дедушки Льва Григорьевича Жданова, потому что все равно до него мы ни о ком из нашей родни практически не знаем. Кроме того, мы почти все носим фамилию, которую он взял как псевдоним, а потом уже сделал своей и нашей. Когда это произошло, точно не скажу, но отец говорил, что дед некоторое время издавал книги под именем Л. Г. Гельмана-Жданова, а потом постепенно его настоящая фамилия перестала упоминаться, и урожденный Леон Герман Гельман, сын еврея, служившего в театре суфлером, а может быть, и актером, превратился в известного русского писателя Льва Григорьевича Жданова.

Насколько я знаю, его семья вообще была театральной. В природе существовала не то дедова бабка, не то дедова тетка, бывшая то ли актрисой, то ли балериной, которая дожила до девяноста с лишним лет. Сам дед дожил тоже до весьма преклонного возраста, причем, по разным сведениям, указанным в картотеке Российской государственной библиотеки, ему могло быть на момент смерти от 88 до 96 лет. Медицинское свидетельство говорит о возрасте 88 лет, и, по-видимому, на этом надо и остановиться.



Лев Григорьевич в юности

Кстати, я помню, как пришло известие о его смерти. Мне было тогда четыре года, и я жила с дедом Мишей и мамой Женей (так я называла дедушку и бабушку со стороны матери) в Сокольниках. Мать с очередным мужем уехала жить в Алма-Ату, а отец, он практически с нами не жил никогда, перебрался к своей старшей сестре Татьяне Львовне, в честь которой меня и назвали. Мы с мамой Женей стояли на остановке и ждали трамвая, когда к нам подошла наша почтальонша тетя Вера, которую я помнила, можно сказать, с рождения, и спросила, как ей найти Льва Львовича Жданова: у нее телеграмма, где сообщается о смерти его отца. При имени ненавистного зятя, которого она до известной степени справедливо считала гнусным соблазнителем своей юной дочери, мама Женя сразу напряглась, но затем, поняв, что дело нешуточное, сказала тете Вере, чтобы она зря времени не теряла: Жданов здесь сейчас не живет и передавать телеграмму некому. Не помню, сообщила ли она об этой телеграмме и как отец узнал о смерти деда. Тем не менее у меня сохранилось смутное воспоминание, как я увидела дедушку. Помню летний день, аллею в парке, белую садовую скамейку. Я стою на этой скамейке, папа сидит рядом и говорит мне, что вот сейчас мы пойдем к дедушке, причем он явно меня уговаривает. Потом он берет меня на руки и несет по аллее, вносит в какую-то узкую и темноватую комнату. Навстречу нам, из глубины этой комнаты, на нас идет дед – маленький старик с большой белой бородой. От страха я заливаюсь мерзким ревом, и отец поспешно выносит меня из комнаты.

Все. Больше ничего не помню.

Но есть один-два документа, опираясь на них можно представить себе общую хронологию жизни деда и чуть-чуть ощутить атмосферу, в которой он существовал. Во-первых, у меня есть краткая автобиография деда, ее передал мне Дмитрий Храбровицкий, а во-вторых, сохранилось любопытное письмо, написанное деду его отцом, которое брат Лева (известный переводчик Лев Львович Жданов) разобрал и напечатал на машинке, за что ему большое спасибо.

«Умань, 10. X. 1896 года

“Гора родила мышь!”

Читал, перечитывал и снова читал твое последнее письмо. Откладывал и на другой, и на третий день то же самое. Прочитав его первый раз, я от злости и негодования почувствовал, что на меня нашел столбняк – я отупел, но размышлял спустя немного и спрашивал себя: говорит ли во мне злоба за высказанную правду или все это подтасовка явлений в моей несчастной жизни. Винить ли я должен себя окончательно и признать себя бесчеловечным извергом, какого не знало человечество, и тем оправдать тебя, что я создал такого же по образу и подобию своему, или же допустить, что в тебя перелился естественным путем дух матери, а не мой. Подумав еще и еще, я своим умишком, вынесенным из кабаков и вертепов разврата, порешил, что и ты не виноват, но что дух твой и все проявления твои наследственный продукт от матери. Но ввиду того, что ты сам желаешь и даже внушаешь это желание всему окружающему тебя миру считать себя нечто вроде Спинозы или Канта, я хотя с ними не сравнивал, но считал себя способным критически правдиво относиться к самому себе, сознавать как свои достоинства, так и свои недостатки, на поверке же выходит, что ты непогрешим от начала сознания самого себя и по сию пору, но, кроме того, ты представляешь собою олицетворенную добродетель. И с того момента, когда я пристально всмотрелся в деяния и в душу твою, я ужаснулся, но всегда раньше винил себя, но, когда ты уже мужем стал, не юношей, я начал страшиться за тебя и ждал плохих результатов в твоих отношениях к себе. Теперь я вкратце тебе представлю как в зеркале твою прошлую, начиная от

8-летнего возраста, жизнь и до сих пор, равно как и то, что я по долгу обязан был и сделал для тебя. Ставя себя в положение полуграмотного простого еврейчика, оставшегося 18-летним без отца и матери, без капитала, без достаточных знаний и без профессии. Я не поступаю в пшеничную контору, не делаюсь гешефтмахером, женюсь на бедной танцовщице-еврейке, сам становлюсь суфлером, она делается актрисой, затем переворот в семейной жизни, и я остаюсь с тремя. Раньше, после твоего рождения, моя жена-актриса любит больше сцену, аплодисменты, чем своих детей, она их оставляет на меня, я их нянчу, кормлю. Далее каждому из них я сам учитель, учу их грамоте первоначальной. Но бедняк я, нищий, на большее не способен. В 8 лет я со слезами умоляю в Каменец-Подольске учителей, чтобы против правил приняли моего сына. Я лелею надежду, что мой сын будет учиться, кончит курс и будет нам опорой. Настигает новое бедствие в семействе, я остаюсь с одним сыном в Хотине, других забрали и онесчастливили. Я своего сдаю в училище, сам служу даром, только взятками поневоле приходилось жить, потому что служба такая в полиции и еще того времени. Я нанимаю сыну квартиру в семье, он бьет там всех детей, скандалит, и я чуть ли не каждый день должен искать ему квартиру. Далее, еду в Одессу, сдаю его снова в гимназию, оттуда в Херсонскую, здесь два раза со слезами я выпрашиваю оставить его, не исключать, обещая, что он исправится. Я уезжаю. Сын постарался быть исключенным и приезжает ко мне в Николаев, обещает приготовиться и поступить в Николаеве, но обманывает меня, не готовится, не идет на экзамен и говорит мне, что держал и обрезался. Тут же он находит любовь, заводит роман, жаждет сделаться актером и мнит, что он писатель. Вижу, дело плохо. Я делаюсь извергом. Зная, что знаниями 4-го класса можно уже жить уроками, ибо брат мой со 2-го кл. уже давал уроки и кормил мать. Виню себя в том, что однажды сказал ему: вот у меня столько-то денег – на тебе половину, или ты уезжай в Одессу, я останусь здесь, или я уеду в Одессу. Это делалось для того, чтобы дать первый толчок к самостоятельной жизни. Правда, я сознавал, что я бессилён кормить 16-летнего юношу, тем более что сам с трудом жил, но пятаков к ногам не бросал, а давал что мог, сберегая остальное на черный день. Я всегда гнул спину над тяжелой работой переписчика. Шулерством никогда не занимался, бывал при играх, и часто, но сам не играл. Если играл, то в очень редких, исключительных случаях. Если при безделии бывал в местах, где собирались актеры, то потому, что был одинок, жизнь была разбита, а затем была цель найти кровлю при театре. Тебе это было непонятно. Несчастный случай был, его помнит Володя. Ты, будучи в Хотине 9 лет, на фортунке проигрывался до того, что я тайком просил в случае проигрыша твоего, чтобы сняли с тебя пальто и только этим тебя отучили от игры. Я хотя и водил тебя с собою для твоего развития в лото, но всегда тебе внушал, что играть не должно, и водил-то тебя для того, чтобы ты видел всю эту гадость, и быть может, потому-то и не играешь. Пить и курить не позволял и оберегал, потому что был всегда со мною. В Одессе ты уже служил на сцене, потому что еще маленьким был приучен к сцене. Суфлировать я тебя научил и дал первую возможность в Херсоне и Богоявленске приучиться к суфлерству. Роли я показал тебе, как писать, и приучил к усидчивому труду, держа с тобою будто бы пари, кто больше и кто скорее напишет. В конце концов что ты из себя сделал, как не суфлера.

Писательство еще когда даст тебе плоды, а суфлерством ты жил более десяти лет. Начал ли ты по собственному почину кому-нибудь помогать, пока я в 92 году стал тебе писать, когда служил у Парадиза, что пора тебе прийти на помощь братьям. Но до этого тебе никогда в голову не пришло, что по долгу и по человечеству должен был сделать. Ты в 32 года не женат и был жестоко лишен женской ласки?! Опять-таки я тебя не виню, но правду тебе сказать я должен. Кто-то сказал: “должен же человек куда-нибудь пойти” или “нужно же, чтобы человеку было куда пойти”, не помню хорошенько, но помню, что это изречение у Достоевского. Вот ты не пьешь, не куришь, не играешь, пишешь рифмы не из призвания к ним, а к Беатриче, отысканной в 15 лет, затем сцена, которая давала очень большой простор в этом отношении, в особенности после разочарований в своих надеждах на свою Беатриче. Тут начинается целый ряд и бесконечный лабиринт любовных связей во всех городах почти, где ты бывал. Но решительного шага ты почему не делал. То кто же этому виноват? Я ли, что все это знал и, глупец, никогда не позволял себе даже намека сделать, что я все это знаю, или ты, что устраивал для себя все это и мнил, что это такая тайна, что ее никто в мире не знает. Но дело не в том, что знал бы кто или нет, а в том, что так наивно уверять, что ты был лишен даже женской ласки из-за нас. Когда же это раньше 92 года ты стал заботиться о нас? Что же касается того, что тебе, как ты говоришь, очень трудно доставались эти средства, которые ты уделял нам, на это, во-первых, можно только сказать, что не следовало делать таких невероятных жертв. Мне, по крайней мере, чувствовалось бы легче, не получая ничего, чем получать за цену упреков. Хотя, насколько мне помнится, что, начиная со службы у Парадиза, потом Кушнаревым и Новиковым в Москве заканчивая, как сам ты мне писал и мне помимо тебя было известно, – тебе вовсе не так трудно было делать эти пожертвования в пользу нас, если верить словам Егора, который был свидетелем в Москве тому, что расходы твои в Москве на одни конфеты, игрушки и т. п. мелочи можно было содержать безбедно 10 несчастных голодных людей. Он возмущен был до мозга костей, видя себя в семье, где за него платили за стол и квартиру 25 р., тогда как он, если бы за свой труд получал на руки эти деньги, жил бы себе отдельно, мог бы еще иметь сбережение от этих денег. Но он говорит, что ты явно и на каждом шагу проявлял себя так, чтобы он чувствовал, что благодетельствуем тобою. Кроме того, он говорил, что его возмущало и то, что в каждую данную удобную минуту в его присутствии всегда то и дело говорил о том, что содержишь всю семью, высчитывая каждого отдельно, и, приехав из Белой Церкви в Москву, он тотчас мне все это сообщил. <...> Затем не терял и не теряю надежды, что все-таки найду дело и сумею еще расплатиться с тобою. Эта мысль меня никогда не оставляла и не оставляет. Если ты во время праздников и Масленицы бывая у меня, застал чужих гостей и я, пожалуй, выпивал с ними 2–3 рюмки водки, которые не только не вредили, а полезны были для поддержки сил и пищеварения, в особенности при той пище, которой я питался, то еще из этого не следует, что мое поведение так позорно было, что я должен стыдиться. Стыдно должно быть тебе, если б ты мог и желал оглянуться и посмотреть на себя. Я не был способен что лучшее из себя создать, но ты мог и ничего не сделал. В конце концов упрекаешь, что я в Москве не заработал 20 коп. Но ведь я хотел брать у Рассохина и других работу, но ты говорил, что платят там дешево, и давал мне свою

работу, которую я всегда работал к спеху, что 20 раз больше утомляло меня, больного, но я ни слова тебе не говорил, а напротив, ты претендовал, что не успеваю, забывая, что мне уже 58 лет, что я не могу уже так шибко работать, как бывало. Неужели уже таки ты на самом деле мечтаешь, что я без тебя, т. е. без твоей помощи, не проживу. Зазнался ты слишком. Отныне прошу тебя все средства свои сохранять для своих детей, а я уж проживу как-нибудь, если не на свой трудовой грош, то общество позаботится. Тебе спасибо за все! Материальных вождлений от тебя никогда не искал, а напротив, было время, когда я и стыдился, и страшился этого, и отказывался. Я всегда искал в тебе того, что у тебя для меня нет, как ты говоришь, а этого нет, то нечего мне и доискиваться, все для меня погребло. Ничего мне от тебя не нужно. Чем я лучше старика Моор? Кажется, что я не лучше его. Франца сетования и недовольство отцом были другие, а твои другие. Старик Моор все-таки остался отцом своему Францу, а последний остался тем же безобразным нравственным калекою. Прошу тебя больше не страдать и не устраивать себе мук. <...>»

Далее опускаю несколько страниц обвинительно-оправдательного текста.

«Я согласен с твоим мнением, что я бесполезный, негодяй, тупоумный, похотливый, недостойн иметь право носить звание твоего отца. Мое имя только позорит тебя. Что же – отрекись, я, поверь, преследовать тебя не буду. Одного только я не могу себя лишиться, это сознания, что ты мой сын, а если желаешь и это отнять у меня, ты можешь, я препятствовать не буду. Мое же чувство родительское, хотя усугубленное, униженное, развенчанное, все-таки останется. Этого ты уничтожить не сможешь. После этого письма твоего, которое я возьму с собой даже в могилу, я сознаю, что между нами должно быть все кончено. Исключая разве воспоминаний, что у меня был старший сын, а у тебя – что был когда-то у тебя отец и только. Отныне я себя лишаю права нарушать твой покой чем бы то ни было. Никаких требований, никаких претензий, как и до сих пор. Ты же поступай, как твоя новая философия поддиктует.

Одно я тебя только на прощание попрошу, если только желаешь и можешь, старайся всеми силами найти Володе труд самостоятельный, независимый от тебя, тогда и я скажу, что ты что-то сделал для него. <...> Ты пишешь... Довольно! Всего сразу не перескажешь. Скажу только, что заботу и попечение обо мне при условиях моего исправления какого и каких-то условий, какие были у тебя с Егором в переписке из Белой Церкви, я не желаю и вообще ничего не хочу. Спасибо тебе за то, что ты уже сделал. Мы квиты, ты отплатил мне в равной мере. Ты исполнил свой долг.

Прощай, пока ты еще не лишил меня звания своего отца – все же твой отец.

20 ноября 1896 г.

Григорий Евсеевич Гельман».

Какие же выводы можно сделать, прочитав это знаменательное письмо, написанное моим прадедушкой? Прежде всего, становится ясно, что оно написано человеком, не слишком образованным, но пообтершимся в театральном кругу. (Брат Лева сохранил орфографию и синтаксис оригинала, когда перепечатывал это письмо, и я тоже ничего не изменила.)

Все эти ссылки на героев Шиллера, все пафосные заявления, все драматические перепады повествования сильно смахивают на монолог какого-нибудь персонажа из трагедии или драмы, автор которой не совсем в ладах с нормами русского языка. С другой стороны, буквально в каждом слове трепещет живое чувство обиды и оскорбления, и у меня это письмо вызывает искреннее сочувствие к прадедушке Григорию Евсеевичу. Мне кажется, из этого письма видно, что он человек добрый, чадолюбивый, общительный, не жадный, но не очень везучий и безалаберный, а также что он любитель выпить и побегать за юбками. Он обижен и оскорблен словами и поступками своего старшего сына Льва, на него он возлагал большие надежды и считал, что все отрицательные черты характера тот получил исключительно от своей матери, а вовсе не от него самого. Он не верит в успех сына на литературном поприще и полагает, что тому не следует гоняться за журавлем в небе, а надо крепко держать синицу в руках, то есть оставаться суфлером, жить при театре и иметь твердый заработок. Видно, как их отношения дошли до точки кипения и терпение родителя по отношению к дорогому сыночку совершенно истощилось.

Но я также верю, что упреки в письме Льва Григорьевича (которого у нас нет) в отношении своего отца скорее всего достаточно справедливы. Думаю, оба наших дорогих предка были хорошими подарками в жизни, каждый в своем роде, и один другого вполне стоил. Но если бы мне предоставили право решать, кто из них симпатичнее, я бы, наверное, все же выбрала прадедушку.

Что же касается непосредственно фактов их жизни, то здесь тоже можно кое-что для себя прояснить. Прежде всего можно вычислить возраст Григория Евсеевича. Письмо написано в 1896 году, где он упоминает, что ему пятьдесят восемь лет, стало быть, он родился в 1838 году или даже в самом конце 1837-го. Таким образом, он был лет на девять-десять моложе Льва Николаевича Толстого и теоретически мог даже видеть Лермонтова или Гоголя. Прадедушка пишет, что в восемнадцать лет он остался сиротой и из всех своих родственников упоминает только брата Осипа. Были ли у него другие братья или сестры?

По тем же подсчетам получается: его старший сын Лев родился, когда ему самому было лет двадцать пять. Можно предположить, что прадедушка женился приблизительно за год до этого события и та самая легендарная балерина или актриса, имевшая псевдоним Жданова, была его законной супругой. Вероятно, именно она дожила чуть ли не до столетнего возраста и передала через своего сына нам свой псевдоним в качестве фамилии.



Мария Ивановна Жданова, жена Льва Григорьевича, середина 1910-х годов

Из письма явствует, что у прадедушки было три сына: Лев, Владимир и Егор. Думаю, полное имя Егора – Григорий. Прадед упоминает города Хотин, Херсон, Белую Церковь, Николаев, Одессу, а сам он пишет из Умани. Все эти города ныне находятся на территории Украины. Если дед родился в Киеве, то, видимо, его отец и вся их семья до поры до времени колесили по югу России, вероятно, вместе с тем театром, где служили прадедушка и прабабушка. Ясно, что никакого своего дома у них не было, и вполне возможно, что у деда с детства сохранилась привычка к кочевой жизни, частым переездам с квартиры на квартиру, словом, отсутствовала привязанность к какому-либо месту на земле. Позже их заносило и в Москву, но ненадолго.

Приблизительно в 1870 году, когда прадеду было около тридцати трех лет, от него сбежала жена. (Подобная история произошла и с дедушкой!) Из письма ясно: прадедушке пришлось поработать в полиции за взятки. Кем?

Из взаимных попреков деда и прадеда можно понять, что дед считал отца никчемным пьяницей и старым развратником, а прадед считал сына жестокосердным и мстительным типом, драчуном, игроком и бессовестным бабником. Все эти характеристики вполне соответствуют тем, которые мне приходилось слышать от моего отца и тетушек в адрес их дорогого родителя, поэтому можно считать их вполне справедливыми.

Я могу сделать одно предположение (но только предположение). Когда мой папа говорил, что еврейская община отвернулась от деда после того, как он женился на православ-

ной и переменял веру, то, возможно, он ошибался, и разрыв произошел раньше, после окончательной ссоры деда с прадедом. Приходилось ли им общаться после этого? Когда и где умерли прадедушка и прабабушка? Мы этого не знаем. Во всяком случае, я очень рада, что у нас есть такой замечательный документ, как это письмо, и я благодарна брату Леве за то, что он не поленился разобрать его и перепечатать.

На оборотной стороне последней страницы письма дедовой рукой написано: «В ответ на это письмо послал почтовых расписок и проч. Всего на 1000 р., начиная с 88 года. (Матери деньги посылались особо.) 5/X 96».

А еще есть небольшое письмо, написанное дедом бабушке, по-видимому, еще до свадьбы, и письмо к бабушке, написанное ее сестрой в тот момент, когда у бабушки с дедом было уже пятеро детей и она не чаяла, как с ним расстаться.

Письмо деда:

«Четверг 10-го. (+10=20) Сейчас восполучил твоих 2 письма: от 6 апреля, заказное, и от 8 апреля, где ты пишешь о Викторе. Милая, дорогая моя, лютик мой, Чутанька! Я так жестоко наказан за свою глупость, что ты и представить себе не можешь. Я наказан тем, что мог огорчить тебя. Но этому есть оправдание. Ты стоишь и любви и поклонения. А я? За что меня любить? Надо быть очень доброй, нежной и “глупой”, чтобы питать ко мне нежные чувства. И вот, сознавая это, я иногда и сумасшедствую. Но за твои слова о притворстве я тебя тоже больно накажу при свидании, птичка моя... Просто, знаешь, как детей наказывают: отшлепаю больно-больно!.. Как можно приписать мне подобное предположение по отношению к тебе?.. Да я бы за твою чистую и искреннюю душу и кровь капля по капле отдал! Верь! А как я уже говорил: я считаю тебя слишком невинной, чистой и белоснежной, чтобы понимать ту земную любовь, которая существует между мужем и женой. Ну, да Бог с ним! До 20-го еще 10 дней! Что со мной будет!!! Чута, люблю, люблю! Мари на ее деловое письмо я ответил давно, верно, она уже получила его. Письма от 2 апреля, заказного, мне не доставили. Но оно не пропадет. Я его нынче же разыщу! Володя лечится. Около 16-го числа, доктор сказал, т. е. через неделю, – можно будет сказать: пустит ли он его в Нижний. Если нет, то я оставлю его у Чарского, где ему будет очень хорошо. Котю мы оба целуем. Всей семье шлем сердечный привет.

От пастора бумагу я получу только 15-го утром. Числа 16-го или не позже 17-го батюшка сможет ее получить. Раньше никак нельзя. Здесь меня будут оглашать, а это произойти может только на Пасхе, т. е. 13-го и 14-го. Писать тебе буду каждый-каждый день... Ох, как у меня сердце сжимается при мысли, что я тебя огорчил!! Не буду, не буду! Никогда больше не буду. Насчет артистов ты верно писала. Дело улаживается. Да, ведь это неизбежно для всех авторов, не только для меня, начинающего новичка, да еще – сослуживца. Каждый думает: “Вот дураку счастье! Отчего это я не написал и не ставлю пьесы?..” Ведь люди очень слабодушны... Чужая удача редко радует кого. Ну да Бог с ними. А мое божество – скоро ли оно будет со мной? Ты теперь причащались, значит, совсем чиста и безгрешна... Я даже боюсь мысленно обнять тебя крепко, чтобы корсет хрустнул, и расцеловать до безумия. Ну так и быть: с твоего позволения: раз, два... и так до бесконечности!.. Виктор-дурак ревнует, я думаю. Спроси Катюку – она скажет. Подшиваловой что за печаль – я уж не понимаю! Ну да чер...

Бог с ними! Чуть было не выругался! Целую, целую, целую! Люблю. Как – увидишь скоро. Твой на всю жизнь.

Львенок».

Вот чистейший образец ждановского мужского стиля. Дорогой дедушка прямо-таки тает от любви (читай, желания), сентиментальничает и лжет в каждом слове, при этом явно косит под Льва Толстого (это насчет бабушкиной неземной чистоты и своей собственной незначительности). Бедная бабушка! Ведь почти любая девушка растаяла бы, получив накануне свадьбы такое письмо с бесконечными просьбами о прощении, признаниями в любви и кучей восклицательных знаков. И ведь почти все наврал: и обижал, и оскорблял, и, возможно, разлюбил, и до бегства из дома довел. Почему-то мне кажется, что похожее письмо могли бы написать и мой отец, и брат Лева, и оба его сына, Алексей и Лев, и даже его внук Боря. Что-то есть в них во всех общее.



Бабушка Мария Ивановна

Фигура бабушки Марии Ивановны мне представляется почему-то более интересной и загадочной. Конечно, о ней мы тоже слишком мало знаем. Она умерла за три года до рождения брата Левы и за двадцать шесть лет до моего рождения – в 1921 году в Нижнем Новгороде, от тифа. Все три ее дочери захлеб говорили об ее красоте, доброте, умелых руках, таланте, способностях, любви к ним – ее детям. И я часто думаю, как же сумел ее измучить дорогой дедушка, что она бросила пятерых детей (младшим-близнецам было по пять лет),

чтобы пойти на фронт работать в госпитале – другого способа уйти у нее, вероятно, не было. Все, что я знаю о бабушке, можно перечислить в нескольких словах. Ее звали Мария Ивановна Клокова. Она была дочерью военного, родом с Волги. Ее дядя, брат отца, был речным капитаном. У нее была родная сестра, которую тоже звали Марией, потому что в момент рождения сестры, которая была моложе ее всего-то, кажется, на год, бабушка умирала и должна была скончаться, но выжила чудом, поэтому ее семейное прозвище было Чута (от слова «чудо»). Однако в этот краткий период борьбы за жизнь отчаявшиеся родители назвали новорожденную девочку Марией, пытаясь сохранить в семье это имя, так и получились у них две Маши. Потом они удочерили еще одну девочку, судя по фотографиям, похожую на обеих Маш, которую почему-то называли Севкой. Наверное, у них были еще и братья и сестры, но я ничего, к сожалению, об этом не знаю. Бабушка была намного моложе деда и выходила замуж совсем молоденькой. Как они познакомились, я не знаю, но у меня осталось впечатление, будто бы она пришла к нему со своими литературными опытами, а может быть, это всего лишь легенда. Во всяком случае, у меня есть какие-то ее девичьи писания, жалко, не дневник.



С отцом, 1951



Слева направо: Тамара, Елена, Лев, Лев Григорьевич, Игорь, Татьяна

Тетушка Елена Львовна рассказывала, что бабушка писала стихи, детские сказки, пела, играла на гитаре, рисовала и вырезала чудесные фигурки из бумаги. Помимо этого, она пекла необыкновенно вкусные куличи и делала пасхи из творога, как-то по-особому раскрашивала пасхальные яйца, хотя вообще заниматься хозяйством в доме не любила, ей это было неинтересно. Бабушка еще умела хорошо шить, обшивала всех детей, от нижнего белья до пальтишек, при этом сама придумывала фасоны, и мне кажется, в этом во всем тоже проявлялось что-то театральное – любовь к празднику, неординарности существования. Бабушка была невысокой, но стройной женщиной с большими карими глазами «под соболиными бровями». Отец рассказывал, когда в Царском Селе она выходила с ним и братом, двумя малышами, погулять, кавалергарды или уланы сажали их перед собой на лошадь и немножко катали, что было поводом пофлиртовать с их хорошенькой мамой. Дед ревновал и устраивал жуткие сцены, а иногда попросту бил. Тинечка и тетечка рассказывали, что дед при всем своем хилом росте отличался необыкновенной силой, еще в молодости он работал грузчиком в порту. При этом дорогой дедушка сам себе ни в каких жизненных удовольствиях не отказывал: мало того что у него было множество любовниц, скорее всего в литературных и театральных кругах, в доме постоянно менялись бонны и гувернантки, которые не могли отказать в женском внимании обаятельному хозяину дома, а бабушка должна была все это терпеть. Мне кажется, это пресловутое ждановское обаяние передалось исключительно мужским членам нашей семьи. От бабушки же нам всем достались ее замечательные карие глаза с длинными черными ресницами и темные брови выразительного рисунка – всем сестрам по серьгам. На деда больше всех была похожа тетечка Елена Львовна, но говорить ей об этом было нельзя, она сильно расстраивалась. Теперь я хочу привести письмо бабушки, единственное сохранившееся у нас, адресованное мужу из Вятки:

«27 августа.

Не стыдно тебе рыжая ты крыса писать указы да приказы разныя что я ребенок малый что-ли? Или дети то на твоём попечении взрослые? Успокойся и не глупи больше... на Аляске мы уже были и дети остались целы побывали и на ярмарке и у мамы на могилке. Наняла девушку. Девушка

попалась смиренная, хорошая с детьми ласковая. Тамарка все хнычет – думаю, что зуб выйдет скоро. Татьяна много ест и все толстеет только, Тусинька поправляется. Посылаю тебе деньги. Маня очень хлопотала и взяла у Васи из подотчетных.

Я здорова и дети все наши тоже. Котя не перешла из-за местоимения. Целуем тебя. Маня и Вася кланяются

Чута.

Пиши чаще и подробнее г. Вятка – 3 сент. 1905».

Письмо, конечно, маленькое, но из него можно понять, что на какой-то период бабушка осталась одна с тремя девочками (сыновья еще не родились). Тамаре Львовне нет еще и года, Тинечке семь лет, Елене Львовне – четыре. Видимо, дед нуждался в деньгах, и насколько я понимаю, сестра бабушки и ее муж раздобыли эти деньги. Все письмо, видимо, написано в спешке, почти без знаков препинания, прямо как телеграмма. Впервые узнаю из этого письма, что Елену в семье называли Тусинька.

Тетечка в свое время рассказывала мне, как еще до рождения братьев-близнецов они ехали с мамой в поезде и как мама предупредила их, чтобы они сделали вид, будто не узнают своего отца и даже вовсе с ним незнакомы, когда он войдет в купе и сядет напротив них. Дело в том, что дед одно время придерживался весьма либеральных (не революционных) взглядов и издавал журнал «Былое и грядущее», из-за которого за ним охотилась охранка. Кажется, он даже некоторое время сидел в тюрьме, после чего перестал издавать сомнительные журналы, а начал писать вполне верноподданнические романы. У меня есть мечта добраться хотя бы до одного номера «Былого и грядущего» и посмотреть, был ли он на самом деле таким крамольным.

А вот письмо, написанное сестрой бабушки уже в тот момент, когда та пыталась уйти от деда.

«Милая Чута!

Сейчас получила твою открытку. Думаю если уже приходили из полиции, то этим не ограничатся, так это дело не оставят потребуют еще. Не падай духом для тебя нет ничего страшного. Он только грозит. Все дело в том ему хочется детей оставить себе поэтому он и изощряется на все выдумки, он прекрасно знает что в случае развода мальчиков у него отберут. Хлопочи паспорт, деньги на дорогу я немедленно вышлю, вообще есть ли у тебя на расходы и сколько надо и как выслать деньги на кого, мы с тобой не чужие, да и до стеснения ли тут, – все это пустяки только бы тебя выручить мне и взять к себе у меня все сердце изболелось что ты бедная одна здесь. <...> Будь здорова. Целую детей.

Твоя М.

4 декабря 1913 г.»

Это письмо также написано без соблюдения правил синтаксиса и орфографии, что косвенно свидетельствует о близости и солидарности обеих Марий. Не совсем понятно, где в это время жила бабушка – в Петербурге ли, в Царском ли Селе или где-то еще. Ясно одно: она пыталась развестись с дедом, уйти от него и забрать детей. Однако до революции это было непросто: дед не давал ей паспорта и мог вернуть ее к себе при помощи полиции. Вот и пришлось бабушке дожидаться начала Первой мировой войны (это письмо написано за восемь месяцев до ее начала), чтобы уйти от деда на войну, откуда отзывать никого уже не имели права. Насколько я знаю, она сначала уехала к сестре в Нижний, видимо, туда дед отпустил ее без детей, а потом – уже на фронт. Насколько все пятеро детей обожали маму, настолько же они боялись и ненавидели отца, особенно дочери. Старшим от него доставля-

лось больше остальных: и Тинечка и тетушка рассказывали, как он их бил, плевал им в лицо, издевался над ними, обзывал неприличными словами, а потом совал свою руку для поцелуя. Он кричал, что они – гири на его ногах, проклинал их. Когда бабушка ушла на Первую мировую войну, девочки остались совсем без присмотра. Тетя рассказывала, что в гимназию они ходили грязными, оборванными, обовшивевшими – это после маминых-то забот. Все письма и подарки, которые она им присылала, дед рвал и выбрасывал – считал себя сильно оскорбленным поведением жены, прямо как новоявленный мистер Домби, и вообще любил разыгрывать из себя Льва Толстого. Нельзя сказать, чтобы он не любил своих детей, но вел себя как деспот и считал, что все должны подчиняться ему, повиноваться его взгляду, не то что слову, не мешать ему жить как хочется, а дышать тогда, когда он разрешит или прикажет. Тинечка рассказывала мне, что она так его ненавидела, что однажды кралась вслед за ним по дому с ножом в руке и думала, ударить его или не ударить. Бог уберег. Но как только дочери достигли определенного возраста, они все тут же убежали из дому в соответствии со своим характером и темпераментом. Тинечка первой ушла на Гражданскую войну вместе с красными (кажется, вслед за своим возлюбленным). Елена поступила на работу в детский сад в Ливадии, а Тамара выскочила замуж. Отец и Игорь оставались жить вместе с дедом, и, хотя он был к ним чуточку снисходительнее, чем к старшим дочерям, все равно им приходилось несладко.



Ишка и Лелька в Одессе

У деда в общем-то никогда не было собственного дома, семья обычно снимала дом или квартиру, преимущественно в Царском Селе, а на лето уезжала в Крым. Перед началом Первой мировой войны, разразившейся как раз летом, они и были в Крыму, завязли там, а потом немцы отрезали Юг России, и уже ни в какой Петроград или Царское Село они вернуться не могли. Вот и жили они на дачах или в домах разных писателей – знакомых деда. Я знаю, что они жили на даче у Даля, а потом в доме Новикова, директора Чеховского театра в Ялте. Отец показал мне этот дом, когда мы ездили в Ялту на отдых. Пока в Крыму были белые, еще можно было жить, то есть было что покушать. Дед устроился интендантом в какой-то белогвардейский санаторий или госпиталь, часто уезжал по делам, а мальчишкам оставлял мешок риса и сухофрукты, из которых мой отец варил что-то вроде гурьевской

каши. Игорь готовить не умел и не любил, а сестры к этому времени все разбежались, мама же служила сестрой милосердия в госпитале в Бендерах. Она получила военное звание, к ней обращались «ваше превосходительство», но своих детей она так никогда больше и не увидела. В 1921 году она уехала к сестре в Нижний Новгород, заболела там тифом и умерла.

Я все время пишу «пятеро детей», но на самом деле их было шестеро. Первым родился мальчик, его называли Львом, но он прожил недолго, а потом стали рождаться девочки. Деду же приспичило иметь именно наследника, и он в конце концов своего добился. Всякий раз, когда бабушка рожала, он ждал мальчика, но в 1899 году в Москве родилась Татьяна, в 1902 году в Санкт-Петербурге – Елена, в 1905 году – Тамара (не знаю, где и в каком месяце, и какого числа). Но в конце 1908 года по старому стилю или в начале 1909 года по новому стилю они жили на одном из одесских лиманов. Бабушка рожала дома, пришел врач. Когда врач вышел к нему из комнаты, где была бабушка, дед кинулся к нему с вопросом:

– Ну что, мальчик?

– Нет, – ответил доктор.

– Девочка? – спросил разочарованный дед.

– Нет, – опять ответил доктор.

– Так кто же?

– Два мальчика, – ответил доктор. Близнецы родились такими крошечными, что их пришлось держать в специальном кювезе с электрическим подогревом, пока они набирали рост и вес. Если верить моему отцу, то они на пару с Игорем весили три килограмма четыреста граммов. При этом папа родился в рубашке, а Игорь – нет. Так и было всю жизнь: отец так или иначе увертывался от всех жизненных передраг, хотя и ему крепко в жизни досталось, а Игоря ждала страшная судьба. Я думаю, как бы сложилась их жизнь, будь жива их мама? Сумела бы она уберечь Игоря? Или все равно от судьбы не уйдешь?

Но тогда все, наверное, только радовались рождению малышек. И дед решил, что бабушке рожать больше не надо. Мальчиков крестили Львом и Игорем, а дома их называли Лелька и Ишка, причем старшие сестры их поделили между собой: Татьяна взяла шефство над Игорем, а Елена – над моим отцом. Так и было всю жизнь, пока Игорь не погиб. К старшим сестрам братья-близнецы питали некий пиетет, особенно когда девочки приносили из гимназии и библиотеки прекрасные книги – романы и стихи, которыми тогда все страшно увлекались. Вместе с ними мальчишки перечитали все, начиная с Шекспира и кончая Северяниным. А научились они читать вверх ногами, потому что сидели возле отца, когда тот печатал на машинке, и напечатанные листы вылезали «вниз головой». Читать они научились рано, память была отличная, и мой отец знал наизусть много стихов, особенно любил стихи Алексея Константиновича Толстого и Северянина.



Слева направо: Тамара Львовна, мой папа и неизвестная дама, 1930-е годы

Стало быть, в 1919–1920 годах Тинечка на фронте защищала советскую власть, Елена работала воспитательницей в детском саду в Ливадии, а Тамара после каких-то неведомых любовных приключений вышла замуж за молодого красивого поляка по имени Эдик.

С приходом красных в Крыму наступил ужасный голод, люди умирали прямо на улицах. Отец рассказывал, как однажды они с дедом пошли на рынок, а по дороге увидели умирающего от голода очень красивого мальчика-грека. Отец сказал: «Папка, давай мы ему чего-нибудь дадим», но в тот момент у них ничего и не было, а обратно они возвращались другой дорогой, и наверное, тот мальчик умер. Отец несколько раз вспоминал эту историю со слезами на глазах. Тем не менее они все же как-то держались. Дед какими-то способами всегда умел достать пропитание, на время отложив в сторону писание исторических романов, которые вряд ли приходились ко двору новой власти. Он куда-то уезжал, а мальчишки жили сами по себе, ходили в школу, читали книжки, сбегали с уроков (это называлось «ходить на Сократа») и почти ежедневно дрались. День без драки считался напрасно прожитым. Мой хозяйственный папа за буханку черного хлеба, оставленного им отцом, попросил одну женщину сшить ему штаны-клеши из мешковины и щеголял в них босиком и без рубашки с пенсне на носу (по причине близорукости), загребая босыми ногами крымскую пыль в поисках приключений. Драки могли вспыхнуть стихийно, например если случайно забредешь на чужую территорию, но часто дрались и по предварительному уговору. Случались и поединки, и сражения стенка на стенку. Но дрались честно – до первой крови. Отцу и Игорю при их малом росте главным делом было подобраться поближе к противнику, ударить его снизу головой в нос и пустить ему юшку – тогда он выбывал из сражения.

При этом случались и всякие казусы. Братья были так похожи между собой, что их часто путали, и почему-то чаще всего колотушки, предназначенные моему отцу, доставались Игорю.

Весной и летом можно было подкормиться в чужих садах и огородах. Как я уже говорила, семья попеременно жила то в Алуште, то в Алупке, то в Симферополе – преимущественно в домах и на дачах писателей и литераторов, знакомых деда. Конечно же, там были свои сады. Но есть яблоки, груши, абрикосы и персики из своего сада было совершенно не интересно. То ли дело забраться в чужой сад и сорвать там давно облюбованный плод, чтобы никто не увидел и не надрал уши, а потом со сладострастием стрескать его, может быть даже не слезая с дерева. А еще можно было отправиться на виноградники, которые охранял сторож с берданкой, заряженной дробью, незамеченным подлезть под куст винограда, набить зелеными, еще не созревшими ягодами рубаху, прибежать с добычей домой, высыпать ее на матрас и снова отправиться на опасный промысел. А затем сидеть на этом матрасе и до оскомины набивать рот кислыми ягодами. Отец всегда говорил, что все их здоровье происходило от этой недозрелой зелени, которую они ели то с хлебом, если он был, то просто так.

Я уже рассказывала, почему вся семья оказалась в Крыму в это время. В начале войны они жили еще в Царском Селе, но мама уже ушла на фронт. У мальчишек была гувернантка-немка, которая пыталась научить их говорить по-немецки, однако эти маленькие мерзавцы, обуреваемые патриотическими чувствами, не желали не только говорить по-немецки, но даже и слушать немецкую речь. Когда гувернантка раскрывала рот, они затыкали пальцами уши, раскрывали рты и начинали вопить изо всех сил. Немка ушла. Потом у них была какая-то бонна, она их немилосердно щипала, одевая на прогулку. Мальчишки отомстили ей таким образом: дождались, когда она куда-то ушла, пробрались к ней в комнату, Лелька снял со стены ее часики, которые она носила на груди на цепочке и положил их на пол, Ишка поднял ногу и со всего размаху наступил на них. Естественно, бонна побежала жаловаться Льву Григорьевичу. Когда тот спросил, зачем они это сделали, мальчишки ответили: «А чего она щиплется?!» Бонну выгнали. Хотя папаша по отношению к детям был истинным деспотом, он считал, что он один имеет на это право. Если кто-ни – будь приходил к нему жаловаться на художества его отпрысков, он не слишком привечал жалобщиков, говоря: «Доносчику – первый кнут». Когда же в свою очередь мальчишки попробовали на кого-то пожаловаться, он сказал им то же самое и посоветовал как следует дать обидчику в морду. Благодаря мудрому родительскому совету, оба они росли задирами и драчунами.

В школу они с Игорем пошли поздно, в четырнадцать лет, и сразу в четвертый класс. Обучение тогда было весьма своеобразным: самым нелепым образом сочетались старые дореволюционные гимназические преподаватели и современные революционные программы обучения. Но по этой теме лучше читать «Кондуит и Швамбранию» Льва Кассиля. В общем, «учились чему-нибудь и как-нибудь». Каких-то учителей любили, каких-то терпеть не могли, на уроках татарского языка (Крым, как-никак) дружно мычали с закрытыми ртами. Учитель бесновался, метался от парты к парте, а выгнать никого не мог: в одном углу затихают, в остальных мычат. Приходили в школу с гранатами, которые после Гражданской войны валялись где ни попадя. Директор школы стонал: «Это не дети, а варвары, настоящие варвары!»

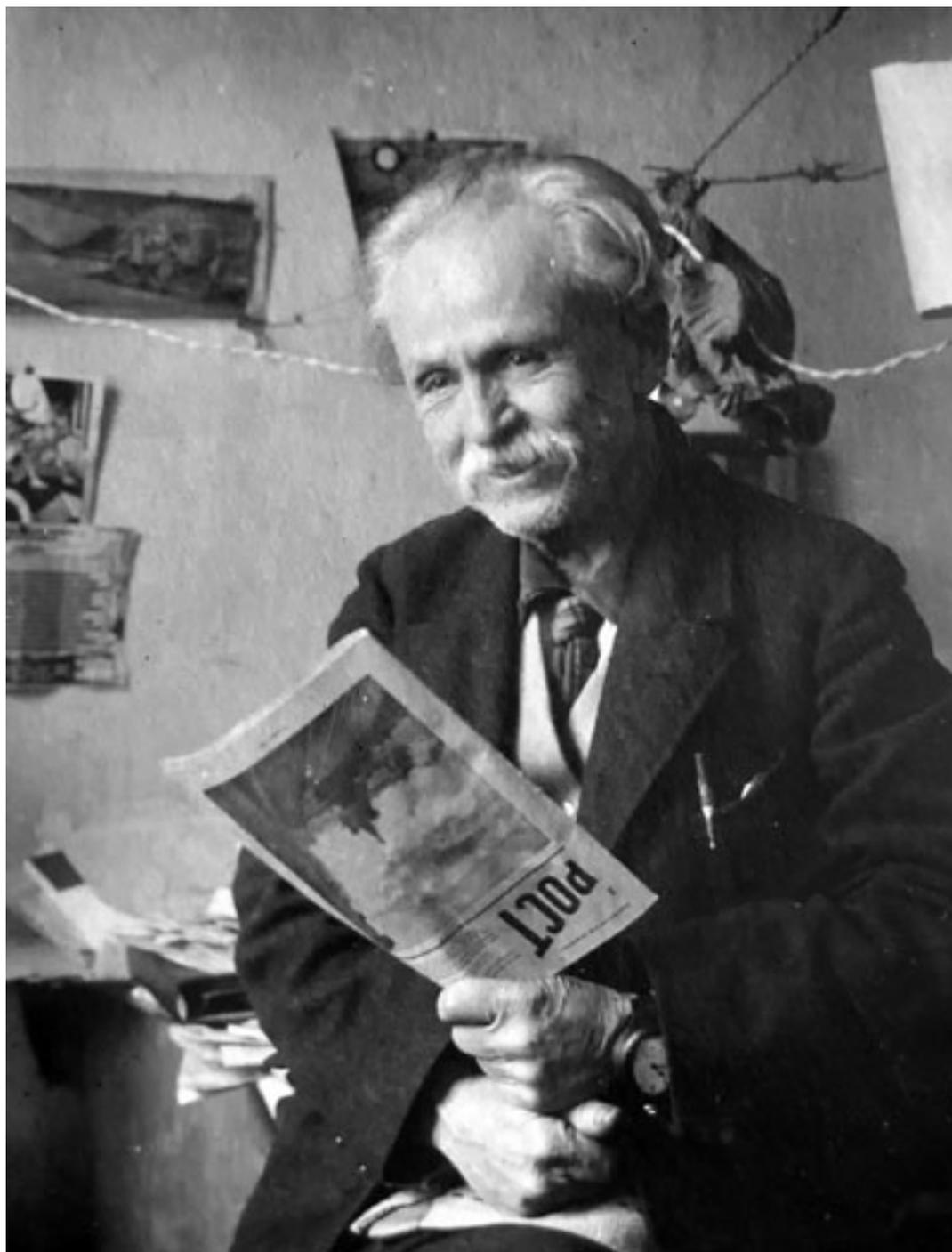
Школа, тем не менее, отнимала у них не слишком много времени. Куда больше времени уходило на купание, занятия гимнастикой и просто на поиски приключений. Заниматься физкультурой отцу очень нравилось, и он с гордостью говорил, что даже умел крутить «солнце» на турнике. На пляже они строились в огромную пирамиду, на самом вершине которой по причине малого роста и веса часто оказывался кто-нибудь из братьев, а потом эта пирамида заходила в море и, когда нижняя ее часть оказывалась по горло в воде, рассыпалась, и папа (или Игорь) летели с головокружительной высоты в воду. Иногда там же плавали какие-нибудь выдающиеся личности, например Иван Поддубный, знаменитый цирковой силач и борец. Мальчишки подплывали к нему поближе и кричали: «Дяденька, брось меня!» Поддубный поднимал их высоко на руки и бросал далеко в море. Это было неска-

занной радостью для всей ребятни. Однако в школе и произошло с Игорем то несчастье, которое впоследствии привело его к ранней и страшной смерти. Во время перемены, когда он возился в коридоре с остальными мальчишками, кто-то, по-видимому, подтолкнул его, и он упал в широкий пролет лестницы со второго этажа. Он ударился головой и, наверное, получил сотрясение мозга. Его отправили домой, где ему следовало бы лежать и лечиться, а кто тогда мог за этим последить? В доме не было ни одной женщины, деду было не до того, а может быть, он и не придавал этому событию большого значения. С мальчишек же что было спрашивать? Конечно, Игорь прямо на следующий день поднялся, пошел в школу и по своим делам. Как говорил отец, в мозгу у Игоря впоследствии образовалась опухоль, а позже стала развиваться шизофрения. Когда дед спохватился, было уже поздно. Ну а пока все шло своим чередом.

И папа, и Игорь с детства любили рисовать и после школы, которую они закончили почти в девятнадцать лет, продолжали учиться не то у художников, не то в художественной школе. В Ялте они жили в доме Новикова, директора театра, и еще в одном доме, который находился во дворе дворца эмира бухарского. Когда мы с папой приехали в 1981 году в Ялту, он все искал этот дом и не мог найти, а потом мы узнали, что дворец теперь находится на территории военного госпиталя, куда посторонних не пускали.

В двадцатых годах в Ялте процветала киностудия, там снимались многие фильмы, и отец иногда подрабатывал в массовках. Его приглашали сниматься, но он отказывался, так как считал, что для актера он маловат ростом, хотя лицо у него было очень красивое. Внешность у обоих братьев была вполне европейская, но сходство с возрастом уменьшилось.

К этому времени все три сестры успели выйти замуж и перебраться в Москву.



Лев Григорьевич. Конец 1920-х или 1930-е годы

Татьяна и Елена нашли себе двух Львов: Татьяна – Льва Владимировича Шифферса, а Елена – Льва Васильевича Смирнова. Думаю, что первой в Москву перебралась Татьяна, затем Елена, потом Тамара, а вслед за ними дед с обоими сыновьями.

В Москве дед с сыновьями поселился в самом центре, рядом с Пушкинской площадью, в Путинковском переулке, где сейчас стоит здание издательства «Известия» или в двух шагах от него. Отцу и Игорю в то время было по девятнадцать лет. Они и в Москве продолжали учиться в художественной школе, и у папы сохранилось свидетельство об ее окончании. Когда отцу исполнилось двадцать три года, его призвали в кадровую армию. Служил в рядах РККА с марта 1932-го по декабрь 1934 года. Попал он в погранвойска и служил сначала в Кронштадте, а потом на Беломорканале. Теперь всем известно, что Беломорканал строили

заклученные. Слава Богу, папа там охранял объект, то есть сам канал, а не заключенных. Но он видел множество заключенных, и особенно ему запомнился один грузин-отказник (так называли заключенных, которые отказывались работать. Тогда их переставали кормить или выдавали им микроскопические доли положенной пайки). Отец рассказывал, что это был пожилой человек в высокой папахе, который все время сидел нахохлившись и смотрел прямо перед собой. Вид у него был гордый и одинокий. Может быть, это был какой-то грузинский князь? Кто знает.

Поскольку папа был художником, ему часто поручали оформить всякие «красные» и «ленинские» уголки.

Отец рассказывал, что та кадровая армия, в которой он служил, совсем не была похожа на современную армию. Во-первых, там не было никакой дедовщины. Никто никого методически не унижал, хотя, конечно, какие-то конфликты происходили. Среди командиров было много бывших беспризорников, прошедших воспитание в детских домах, а потом обучение в военных заведениях. По словам папы, они были прирожденными педагогами: старались солдат научить, а не удавить. Во-вторых, солдаты тоже были совсем другими. Их основную массу составляли деревенские парни, часто недоедавшие в своих деревнях, часто полуграмотные или совсем неграмотные. Армия кормила их, учила, просвещала – на свой лад, конечно. Для большинства из них служба в армии была шагом вперед, а не десятью назад, как сейчас. Конечно, для интеллигентных молодых людей, таких как папа, служба в армии была, в общем, занятием не очень нужным. Но с другой стороны, когда началась настоящая война, папе воинская выучка очень пригодилась, как и армейский опыт. Наконец кончилась папина служба в кадровой армии. Вернулся он на гражданку и зажил свободной, легкомысленной и веселой жизнью. У Игоря тем временем развилась шизофрения, и в армию его, конечно, не взяли. Он продолжал жить вместе с дедом Львом Григорьевичем, а иногда Тинечка забирала его к себе в комнату в Институтском переулке. Сестры как могли заботились о своих младших братьях. По их словам и собственному признанию папы, Игорь был талантливее брата. Сохранилось немного его рисунков, очень интересных. Однако болезнь прогрессировала, и с Игорем все труднее было общаться. Тем не менее у него был роман с какой-то девушкой, которая от него даже забеременела. Однажды, в присутствии папы, она пришла к Игорю и деду, но они очень грубо ее прогнали. Кто знает, может быть, она все же родила и где-то бродит по свету мой двоюродный брат или сестра?

В июле 1938 года папа был зачислен на должность стажера-мультипликатора на студию «Союзмультфильм». Ему надоели непостоянные заработки, хотя и очень хорошие. Но в этом же году произошло несчастье с братом Игорем. Дед почему-то решил послать Игоря на Кавказ, кажется в Сочи. Дед высылал сыну деньги, потому что тот, конечно, работать не мог. Папа знал, что Игорь нарисовал карикатуру на Сталина и хранил ее у себя. Карикатура была подписана «Птица-Тройка», и на ней был изображен Сталин, сидящий на облучке и погоняющий лошадей плеткой, а вместо лошадей в хомутах были изображены Ворошилов, Молотов и Каганович. Папа просил брата отдать ему эту опасную карикатуру, но Игорь отказался: «Нет, ты ее порвешь». А потом произошла такая история. Игорь в очередной раз зашел на почту, чтобы получить высланные дедом деньги. К сожалению, деньги еще не пришли, и Игорь распахнулся и наорал на девушку, работавшую на почте, вероятно используя ненормативную лексику. Похоже, у девушки были родственники в соответствующих органах, потому что вскоре к Игорю пришли с обыском люди из НКВД и нашли эту проклятую карикатуру. Его тут же забрали, несмотря на очевидное психическое нездоровье. Больше его никто не видел. Дед пытался найти сына, объезжая лагеря заключенных под видом сбора литературного материала (как он это исхитрился делать?), но ему ничего не удалось узнать. Конечно, папа тоже очень переживал, но что он мог поделать?! Через некоторое время папа получил извещение о том, что Игорь «умер в дороге».

А потом наступил 1941 год, а с ним – «Вставай, страна огромная!» 25 июня, на третий день призыва, как ему и полагалось, папа отправился в военкомат, оттуда в казармы, а из казарм – на фронт. Но на фронт он попал не сразу, потому что их сначала куда-то перебросили (недалеко от Москвы) для обмундирования, формирования и пополнения. Там призывников спросили, кто хочет учиться на минометчика. Папа тут же вызвался на учебу. Правда, учили их недолго, а потом пришлось отправиться в пекло. Первая вражеская бомбардировка обрушилась на них под Ржевом. Рядом находилось кладбище, и солдат, зарывшихся носом в землю, покрывали остатки разбомбленных гробов и человеческого праха, вылетавшего из могил.

Отцу нравилось (если можно так выразиться) быть минометчиком еще и потому, что он практически не видел тех, кого убивали его мины. Он говорил: «Я рад, что впрямую не убил ни одного человека». Действительно, наверное, нет ничего страшнее рукопашного боя, когда ты стоишь с противником лицом к лицу и должен – должен! – убить его, иначе он убьет тебя.

После тяжелого ранения в руку отца перебросили в саперный батальон телефонистом. Весть о победе застала отца в Румынии. Он был телефонистом и первым узнал об окончании войны. Он принял звонок с сообщением о Победе и побежал будить своих. Ребята все подскочили, схватили оружие и устроили дикую пальбу – просто в небо. Это был их первый салют в честь Победы.

Когда его, наконец, демобилизовали, ему пришлось плыть из Одессы в Николаев по заминированному немцами Черному морю, а оттуда на поезде он вернулся в Москву, куда его сестре, Тамаре Львовне, пришли на него уже три похоронки. Обосновался он на прежнем месте, у своей сестры Тамары, и снова пришел работать на родной «Союзмультфильм», куда продолжали возвращаться и другие бывшие фронтовики.

А где был дед? Он уже не жил в Путинковском переулке, еще до войны продал эту комнату, когда произошло несчастье с Игорем. Ничего определенного на этот счет сказать не могу, а спросить уже некого.

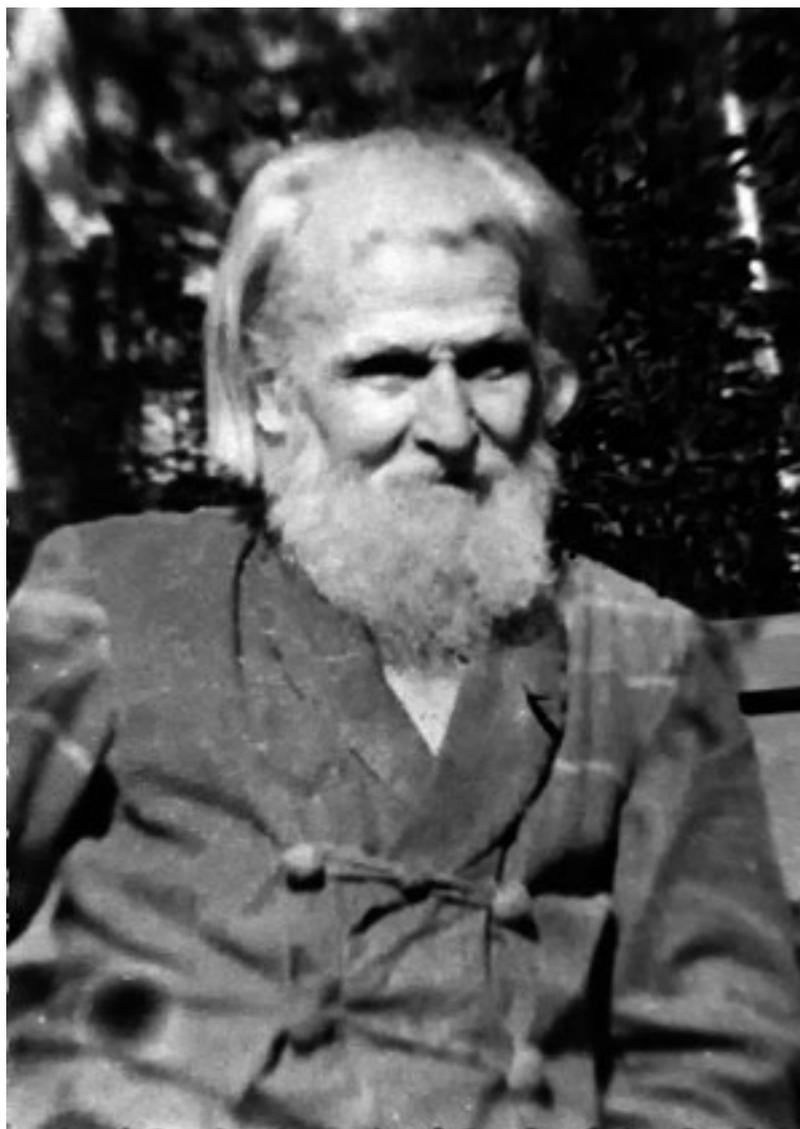
Все же, насколько мне известно, оставшиеся годы жизни Лев Григорьевич провел в домах творчества ветеранов сцены: или в Измайлове в Москве, или где-то под Ленинградом.



Лев Григорьевич Жданов. Вероятно, снимок сделан после войны

Так сложилось, что мы, его потомки, не получили никаких прав на его авторское наследие. В 1990-е годы прошлого века, после долгого перерыва, были переизданы многие его произведения, и даже вышло пятитомное собрание сочинений в издательстве «Терра». Исторические романы деда до сих пор пользуются спросом. Мы не получили денег, но зато дед оставил нам, потомкам, более богатое наследство – способность к языкам и к слову вообще: моя тетушка Татьяна Львовна знала два языка, ее сын Лев Львович был известным переводчиком и переводил с пяти языков, я могу читать и изъясняться на трех, дочь моего двоюродного брата тоже переводит книги с английского, его внук и внучка учатся в языковых вузах. Мы все любим и ценим русский язык и русскую литературу. И я думаю, за это мы должны быть благодарны нашему знаменитому предку.

Ну а в заключение поведаю одну мистическую историю. Мой отец Лев Львович Жданов скончался 10 января 1992 года в 9.30 вечера. Ровно на этой минуте остановились его ручные часы, висевшие на гвоздике над кроватью. В тот момент рядом со мной никого не было. Я тут же вызвала «скорую». Молодой врач еще с порога «констатировал смерть». Потом подсел к папиному письменному столу. К моему удивлению, уверенным жестом открыл стоящую на нем шкатулку и достал из нее паспорт, чтобы написать справку о смерти. Мы с медсестрой хранили молчание, чтобы не мешать. Написав справку, врач стал объяснять мне, как действовать дальше, а я решила проверить документ, чтобы, упаси Бог, в нем не оказалось ошибки (иначе бы возникли немислимые трудности с похоронами).



Лев Григорьевич в старости, конец 1940-х годов

Каково же было мое изумление, когда я увидела вместо «Лев Львович» – «Лев Григорьевич» Жданов.

– Простите, вы ошиблись, – сказала я.

– Как?

– Вот, посмотрите сами.

Врач перечитал справку и с некоторым испугом уставился на меня.

– Почему вы так написали? – спросила я, ожидая услышать про какого-нибудь друга, соседа или коллегу с таким же именем-отчеством, но молодой человек, продолжая на меня смотреть испуганными глазами, медленно произнес:

– Я не знаю.

– Видите ли, – сказала я, – Львом Григорьевичем звали его отца.

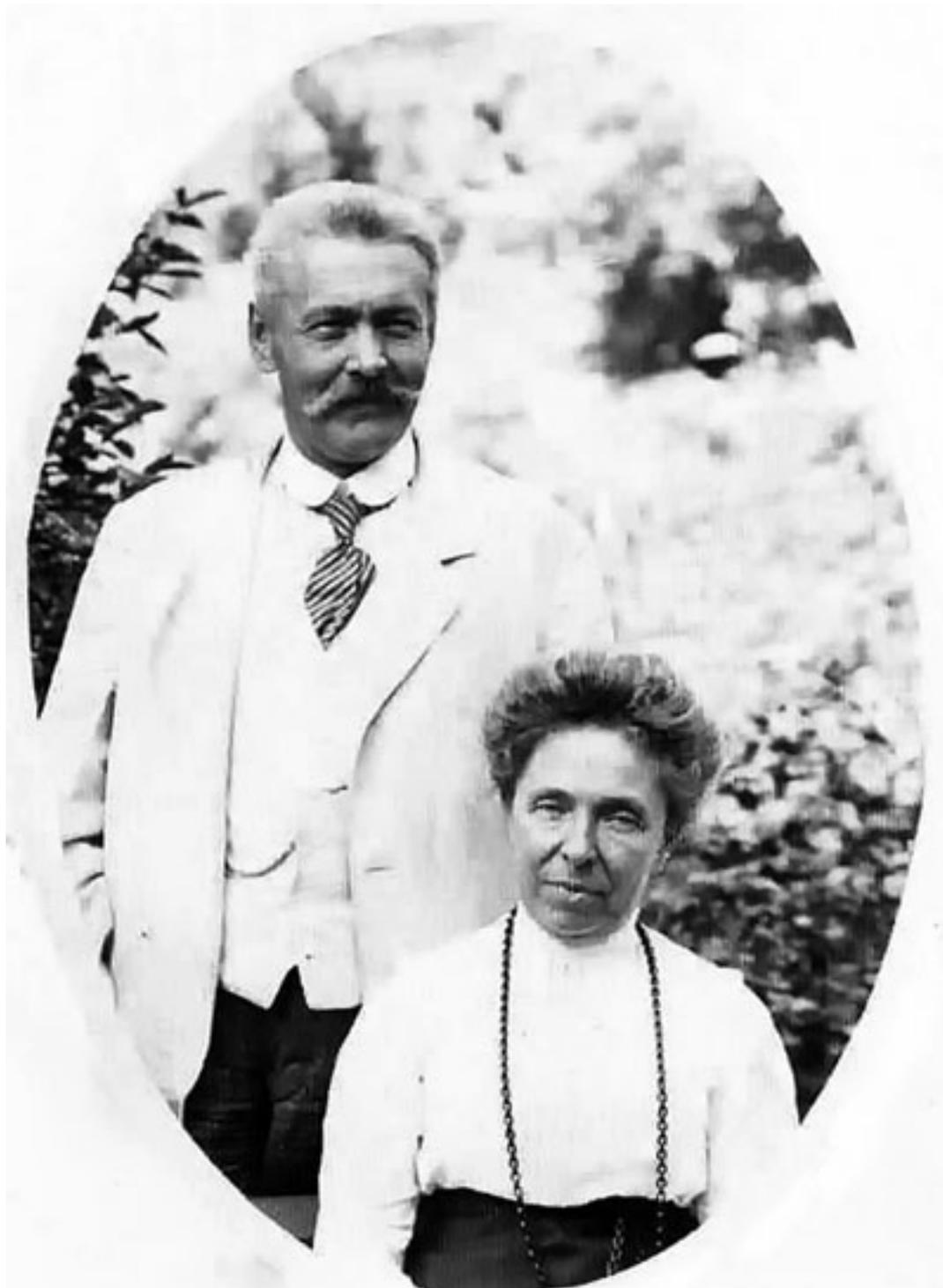
И в эту минуту я почти физически ощутила присутствие деда у себя за спиной, в изголовье папиной кровати.

Врач разорвал справку и написал другую. Глупо, что я не догадалась сохранить эту разорванную справку, она могла бы стать документальным подтверждением моих слов, в эту минуту мне было не до нее. Но сама я твердо уверена: отец пришел за сыном в час его смерти. Может быть, и мой папа... когда придет мой час? Кто знает...

А. А. Овчинников

Мой дед Алексей Михайлович Овчинников

Мой дед происходил из семьи известных российских ювелиров – Овчинниковых. Фирма П. Овчинникова имела статус «Поставщика Двора Его Величества», а сам Павел Акимович, основатель и владелец фирмы, был удостоен звания «Потомственный почетный гражданин Москвы». Фабрика П. Овчинникова была основана в 1853 году и, по сведениям 1873 года, на ней работало около 175 рабочих и от 70 до 90 учеников. Фирма занимала ведущее место в России по производству серебряных изделий, особенно покрытых эмалью, и получила широкую известность после промышленной выставки в Москве в 1865 году, где владелец фирмы был награжден золотой медалью. Дело Павла Акимовича унаследовали его сыновья Михаил Павлович (мой прадед), Александр Павлович и их младший брат Николай Павлович, который работал в магазине фирмы Овчинниковых, размещавшемся на первом этаже двухэтажного дома на Кузнецком Мосту. Последний, если быть честным, больше увлекался охотой, чем ювелирным искусством. Но Михаил Павлович был достойным преемником своего знаменитого отца, и вплоть до смерти прадеда в 1913 году фирма братьев Овчинниковых работала вполне успешно.



Михаил Павлович и Вера Александровна Овчинниковы, 1911

В начале XX века Михаил Павлович и его супруга Вера Александровна с сыновьями, старшим Алешей (моим дедом), младшим Мишей, и дочерьми Марией, Верой и маленькой Таней проживали в собственном доме в районе Таганки на Гончарной улице, называвшейся в советские времена улицей Володарского. Сохранилось описание этого дома и комнат, сделанное воспитателем Алеши, Владимиром Александровичем Поповым, в 1903 году: «Двухэтажный дом с большими окнами верхнего этажа, в которые глядели лапчатые листья пальм, стоял за чугунной узорчатой решеткой с такими же воротами, от которых шла по песчаному двору асфальтовая дорожка к ступенькам высокого крыльца с зеркальными две-

рями, закрывающимися на ночь деревянными, а на день широко распахнутыми по обеим сторонам крыльца. Перед домом, по улице, был палисадник с крупной сиренью... Мы позвонили. Дверь нам открыл солидный, еще молодой слуга в белых перчатках – Осип Алексеевич. Вошли, и сразу охватил меня покой и старинный уют дома. Сняли верхнее платье в маленькой передней с большим зеркалом и поднялись по чугунной, широкой, но крутой лестнице во второй этаж. Нас провели в белый квадратный зал, где единственным темным пятном был большой бежштейновский рояль да скромно притаилась в углу орехового дерева лакированная фисгармония. Хороши были старинные, ореховые двери прекрасной столярной работы с бронзовыми ручками в форме груш с листьями. Все остальное в комнате было цвета “крэм” (здесь и далее орфография сохранена, как в оригинале. – А.О.). Прямые шелковые задергивающиеся занавесы такого же цвета висели на больших зеркальных окнах. В углу стояла развесистая пальма – кэнтia. Никогда раньше я не видел и никогда, наверное, не увижу такого холеного тропического растения в комнате... Нас пригласили перейти в кабинет Михаила Павловича – в просторную, но меньшую, чем зал, комнату с двумя большими окнами, выходящими во двор. Дом стоял на горе, и из окон был чудный вид на Замоскворечье: широкий-широкий горизонт. Вдали, далеко за городом, синели дали...»

В середине 1950-х годов, спустя полвека, отец решил показать мне этот дом. Он был еще цел и одиноко стоял среди пустого двора, полностью лишеного какой бы то ни было растительности. Судя по многочисленным звонкам у входной двери, в доме жило много разных семей. Зеркальные окна второго этажа были заменены мелкими с частыми переплетами. Крыльцо и наружная дверь не имели ничего общего с описанием В. А. Попова. Дом показался мне очень старым и маленьким, возможно, потому, что примыкавший к нему ранее жилой флигель, в котором были комнаты Алеши и Миши, был уничтожен. Мы не стали заходить внутрь дома, так как объяснить жильцам наш интерес мы вряд ли бы смогли. Еще через пятьдесят лет я уже не смог узнать этого дома среди реставрированных и значительно переделанных зданий на Гончарной улице, где разместились современные банки и офисы отечественных и зарубежных фирм.

Теперь приведу описание хозяев дома, какими их увидел В. А. Попов. «Вера Александровна тогда была еще молодым человеком с большой, однако, проседью в волосах. Поражала седина и на голове Михаила Павловича, лицо которого без бороды с небольшими усами невольно останавливало на себе внимание тонкими красивыми чертами; у него был характерный небольшой, острый нос. Голова была сравнительно небольшой и казалась еще меньше от широких плеч и высокой груди. В молодости он был очень интересен, особенно в военной форме...»



Алеша Овчинников, ученик пятого класса Московской Практической академии

Мой дед Алексей Михайлович родился 16 июня 1888 года, и в описываемое Поповым время ему было около 15 лет. «Он сразу понравился мне – пишет далее В. А. Попов, – Это был плотный мальчик, краснощекий, с круглой, коротко остриженной головой и в курточке с ремнем – форма, какую носили тогда ученики средних учебных заведений. На румянном лице резко выделялись правильной дугой темно-каштановые брови; лицом он был похож тогда больше на мать, чем на отца». Алеша учился в Практической академии и мечтал поступить в Императорское высшее техническое училище, для чего в течение нескольких лет занимался с репетитором, в основном математическими науками. Он неплохо рисовал, и его родители хотели, что бы он учился рисованию на случай, если придется принять участие в ювелирном деле Овчинниковых. У него был музыкальный слух, и уже в детстве он играл в семейном оркестре балалаечников, который организовал его отец, а позже стал брать уроки игры на виолончели. В более старшем возрасте Алексей самостоятельно выучился игре на двухрядной гармонии и с легкостью подбирал популярные в то время мелодии русских песен. Но больше всего в жизни его интересовали охота и различные моторы. В юности он обожал многокилометровые прогулки с ружьем по лесу, постоянно возился с охотничьими принадлежностями для снаряжения патронов и часами обсуждал со своим дядей Колей, тоже страстным охотником, достоинства и недостатки различных ружей и охотничьих собак. Эта страсть сохранилась у него и во взрослом возрасте».



Алексей Овчинников, 1909

Поступив в 1906 году в Императорское техническое училище (в последующем – Московское высшее техническое училище им. Баумана), Алексей заболел автомобилями, которых к тому времени становилось все больше и они быстро совершенствовались. Как пишет В. А. Попов: «Для него автомобиль был живым организмом. Каждая деталь его механизма, непонятная даже культурному человеку нашего времени, непосвященному в тайны механизма, была ему близко знакома, и он знал все причины, от которых мотор может перестать работать». Конечно, он мечтал о собственном автомобиле, но Михаил Павлович не хотел баловать сына и требовал, чтобы он сам зарабатывал деньги. Постепенно Алексей скопил деньги на мотоцикл. Он часами возился с ним, чистил, изучал, регулировал. Доведя машину до идеального состояния, он продал ее и купил себе новую, более совершенную. Так повторялось несколько раз, и в 1914 году у него была уже прекрасная сильная машина «Индиан» с коляской, в которой он мог возить пассажира. В. А. Попов писал: «Ему доставляло большое удовольствие ехать на мотоцикле, работающем четко и без перебоев, куда-нибудь за

город, везя с собой в колясочке лицо, приятное ему в этой прогулке». Одновременно с мотоциклами Алексей увлекся и моторными лодками, на которых принимал участие в соревнованиях. Сохранились фотография Алексея с приятелем на моторной лодке, сделанная на Москве-реке в районе Воробьевых гор, и множество фото на мотоциклах разных моделей. Когда началась Первая мировая война, Алексей был призван в армию в качестве «кондуктора» (нечто вроде военного инженера). Первые месяцы войны он вынужден был провести на службе в канцелярии военно-технического ведомства. Он тяготился этой службой. Его быстрая, живая натура и кипучая энергия требовали выхода, и Алексей быстро нашел его – поступил на курсы военных летчиков. Авиация в те годы, стимулируемая потребностями войны, развивалась семимильными шагами. Появились самолеты-амфибии, и осенью 1915 года Алексей уехал в Петербург, где, став курсантом морского училища, начал осваивать полеты на гидропланах. В 1917 году летное отделение училища было переведено в Баку, и в июле того же года Алексей получил офицерский чин морского летчика и был оставлен в училище инструктором. Последняя его фотография была прислана им домой летом 1917 года из Баку: красивый загорелый молодой офицер в белом морском кителе на фоне так называемой летающей этажерки, имевшиеся в те годы на вооружении русской армии самолеты с крыльями в два этажа.



Алексей Овчинников в последнем классе перед поступлением в Императорское высшее техническое училище



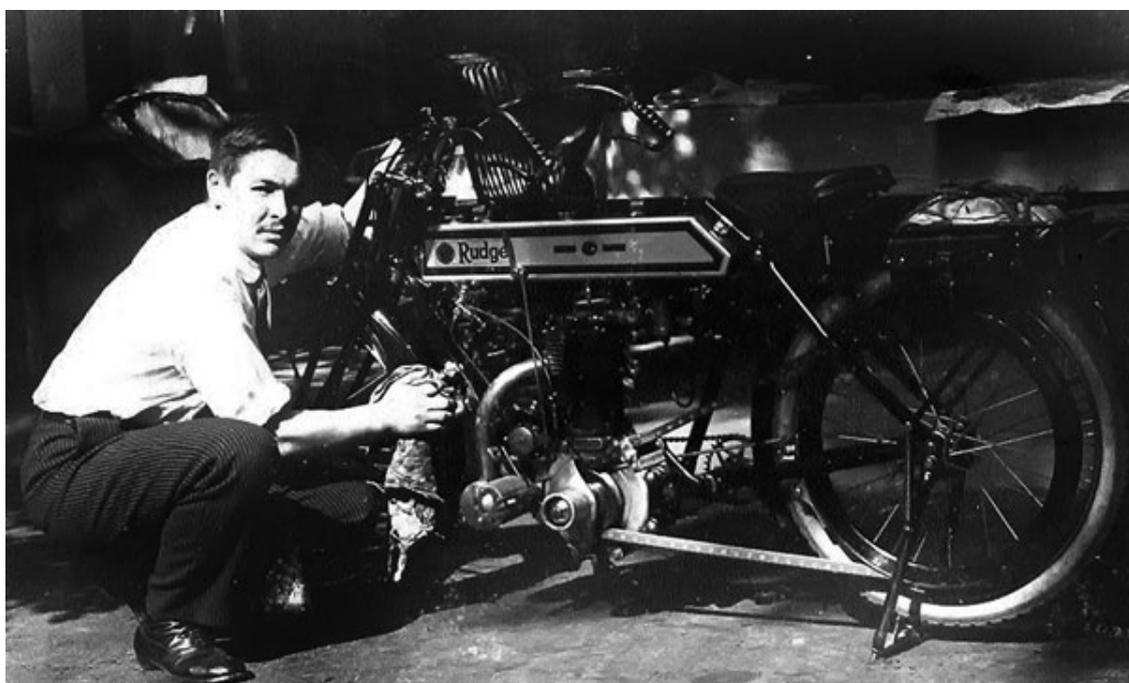
Алексей и Грэсс на охоте



Алексей с трофеями (глухари)



Алексей и дядя Коля (Николай Павлович, младший брат Михаила Павловича)



Алексей со своим первым мотоциклом («мотором»)



Алексей с детьми на «моторе». В коляске – Вера и Андрияша Трапезниковы



Алексей Овчинников и Василий Живаго на моторной лодке на Москве-реке в районе Воробьевых гор



Алексей (слева) – курсант военно-морского летного училища, Санкт-Петербург, 1915



Алексей – курсант военно)морского летного училища, Баку, 10 марта 1917 года

После октябрьского переворота Алексей чудом добрался до Москвы и летом 1919 года зарегистрировался как военный летчик. Он был направлен в качестве инженера на авиационный завод в Брянске, где проработал чуть меньше года. В начале 1920-го он был арестован и под охраной перевезен в Петроград, где был помещен в тюрьму. Его последняя записка

сестре Тане из тюрьмы была датирована февралем 1920 года: «Близится весна. Голодаю, слабею, надеюсь к Пасхе быть дома...» Получив письмо и выхлопотав разрешение, Татьяна выехала в Петроград и, придя в тюрьму, узнала, что Алексей Михайлович Овчинников умер от тифа 6 марта 1920 года и был похоронен в общей могиле. Ему было в то время 32 года.



Алексей – военно-морской летчик. Последняя фотография. Баку, лето 1917 года

Теперь давайте вернемся на пятнадцать лет назад, в счастливые дни 1904 года. Семья Овчинниковых снимала в это лето флигель в имении Белкиных Воскресенское, недалеко от ст. Бутово Курской железной дороги. На Валентине Сергеевне Белкиной был женат младший брат Михаила Павловича Овчинникова, «дядя Коля», страстный охотник, пристрастивший Алешу к этому увлекательному спорту. Воскресенское – старинное имение с красивой церковью и старым домом, много раз перестраивающимся по желанию его старых и новых владельцев. Дом был окружен парком, который сбегал с двух сторон к большому пруду, через него от одного берега к другому был перекинут мост. Недалеко протекала река, где у запруды

стояла на замке собственная лодка с распашными веслами. На лето переезжали большим кагалом – кроме Веры Александровны и Михаила Павловича Овчинниковых с пятью детьми, бабушка Пелагея Кузьминична (мать Веры Александровны), сестра Михаила Павловича, «тетка Анна» с сыновьями Жоржем и Шурой, которые, будучи на 4–5 лет моложе Алексея, относились к нему с большим уважением. Привозили с собой слуг – Осипа Алексеевича, прислуживавшего за столом, за которым в выходные дни собиралось до 15–20 человек; кухарку; горничную Веры Александровны; бойкую еще старушку-няню маленькой Тани; гувернантку Веры и Миши, фрейлейн Гемминг, ходившую в туго накрахмаленных платьях, в шляпке и перчатках; камердинера Ефрема, человека средних лет с большими усами, большого любителя выпить. Летние месяцы вместе с Овчинниковыми проводил и упомянутый выше студент университета В. А. Попов, благодаря его воспоминаниям мы можем представить себе образ жизни семьи Овчинниковых.



Вера Александровна с детьми на крыльце дома в Воскресенском, 1903. Сверху вниз, слева направо: Маруся, Алеша, Таня, Вера и Миша

Занятия чередовались с прогулками, вместе с детьми и воспитателями принимали в них участие и Вера Александровна, и Михаил Павлович, приезжавший из города на субботу и воскресенье. Ходили за грибами, плавали на лодках по реке, а иногда нагружали телегу провизией, посудой, самоварами и отправлялись за пять-шесть верст в соседнее Астафьево (современное написание – Остафьево) – старинное имение графов Шереметевых, в котором размещались музей художественной старины, картинная галерея и где бывал А. С. Пушкин, навещавший своих друзей Вяземских, прежних владельцев имения... Нередко приезжали

гости. Чаще других – Александр Константинович Трапезников, ухаживавший за старшей дочерью Овчинниковых – Марией, с которой обвенчался в 1905 году. Однажды на несколько дней приехала целая компания молодых Живаго: Татьяна Романовна – барышня лет восемнадцати, ее брат Вася, ровесник Алеши, и сестра Наташа, серьезная тихая девочка со сдержанными манерами, которой в то время было двенадцать лет. Их отец, Роман Васильевич Живаго, был богатым домовладельцем, наследником своего отца, Василия Ивановича Живаго, владельца крупного магазина военного имущества и офицерского обмундирования на Тверской. Роман Васильевич окончил Московскую практическую академию коммерческих наук, увлекался музыкой и собирал редкие музыкальные инструменты, а с его супругой, Таисией Ивановной, была близко знакома Вера Александровна Овчинникова. Возможно, это была первая встреча моего деда Алексея Михайловича со своей будущей женой, моей бабушкой Натальей Романовной Живаго, тогда началась их дружба, переросшая затем в любовь. Наташа была очень одаренным человеком, прекрасно рисовала, обучаясь живописи у известного художника К. Ф. Юона, ее картины, главным образом великолепные акварели, до сих пор украшают стены нашей квартиры.



Алексей в форме Императорского высшего технического училища и Василий Живаго, 1913



Наташа Живаго в 10 лет, 1901



...и в 16 лет, 1906



Маскарад «Синяя птица» в доме Живаго. В верхнем ряду слева: Алеша – Хлеб с клеткой в руках. В верхнем ряду справа: Наташа – фея Бириллуна в остроконечной шляпе. В центре – Василий Живаго в костюме балерины

В 1906 году Алеша закончил последний, седьмой, класс Практической академии и осенью стал студентом Императорского технического училища. По словам В. А. Попова, он сильно вырос, похудел, сменил детскую прическу «бобриком» на длинные волосы «на пробор», смазывая их бриолином. Он начал учиться играть на виолончели и благодаря своему прекрасному слуху добился успехов. Вместе с Живаго он стал часто бывать в консерватории, а после концертов – провожал Наташу и Васю до их особняка на Никитском бульваре, нередко засиживаясь у них допоздна. В доме Живаго всегда было много молодежи, по праздникам устраивались маскарады с танцами и угощением, и Алеша был непременно их участником. Иногда по вечерам собирались за чайным столом и начинали сообща сочинять стихи, причем в этой игре нередко принимал участие и дядя Саша (Александр Васильевич Живаго, брат Романа Васильевича, врач и знаменитый путешественник и египтолог, чья коллекция египетских древностей находится в настоящее время в Музее личных коллекций при Государственном музее изобразительных искусств на Волхонке), большой любитель молодежи.

В марте 1907 года Наташе Живаго исполнилось шестнадцать лет. В день совершеннолетия Алеша подарил ей букет прекрасных роз, купленный в одном из лучших цветочных магазинов. Однако, будучи очень стеснительным, он попросил своего бывшего воспитателя В. А. Попова, ставшего близким другом, чтобы цветы были преподнесены Наталье от них обоих. Что и было сделано.

27 апреля 1911 года состоялась свадьба Алексея и Натальи. Жениху было в это время 23 года, невесте – 20. Наталья Романовна стала очаровательной, изящной молодой женщиной и вместе с высоким, крупным Алексеем, сохранившим детскую застенчивую улыбку, они смотрелись очень красивой парой. Венчались в церкви Козьмы и Дамиана на Таганке. Было многолюдно: вся многочисленная родня Овчинниковых и Живаго, их друзья и знакомые. В. А. Попов вспоминает интересный момент, когда Алексей и Наталья должны были встать на атласный коврик перед аналоем. Присутствующих всегда интересует, кто первым

ступит на него, так как, по распространенному мнению, первый вступивший на коврик будет «верховодить» в семейной жизни. Алексей первым подошел к коврику, дождался, когда Наталья наступит на атлас и лишь потом опустил на него свою ногу. После венчания в доме у Овчинниковых был устроен «открытый буфет», и гости рассеялись по всему дому... Далее снова передаю слово В. А. Попову: «Молодые тем временем переоделись, и через некоторое время мы все отправились провожать их на Николаевский вокзал. Они уезжали в Финляндию: Алеша ни за что не хотел делать обычного в таких случаях путешествия за границу». Вспомним, что Финляндия в те годы была частью Российской империи.



Наталья Романовна Живаго и Алексей Михайлович Овчинников за год до свадьбы, 1910

В июне 1912 года у Алексея и Натальи родилась дочка Наташа, Туся, а через три года, в ноябре 1915 года, когда Алексей уже был курсантом авиационного училища, родился мой отец Адриан, Адик. Алексей Михайлович обожал свою дочку, с которой проводил много времени, катал ее на мотоцикле, и она уже в трехлетнем возрасте была просто влюблена в своего отца. Его отъезд в Петроград был для нее настоящей трагедией. Сына же своего Алексей видел очень мало, возвращаясь в Москву лишь во время коротких отпусков. Так, по свидетельству В. А. Попова, зимой 1916 года Алексей Михайлович приезжал в Новое, подмосковное имение Романа Васильевича Живаго, где жила в то время Наталья Романовна с детьми. Он был одет в морскую форму, которая ему очень шла. «Я помню, – пишет Попов, – меня удивила серьга в одном ухе у него: это был какой-то талисман морских летчиков. В этом талисмানে-серьге так ясно отражалась молодая Алешина душа: он верил и не верил в этот “талисман” и в то же время его потешало удивление других при виде этой серьги в его ухе...» Длительное пребывание Алексея вдали от его семьи отдалило его от Натальи Романовны. После возвращения его в Москву в конце 1917 года и до отъезда его в Брянск супруги жили врозь. Осталась короткая записка Натальи Романовны: «Помню, как в сентябре 19-го года Алеша приходил ко мне...» О чем говорили они, осталось неизвестным.



Наташа Овчинникова

После смерти Алексея Михайловича Наталья Романовна в 1928 году вышла замуж за друга их юности Дмитрия Ярошевского и в 1931 году родила сына Илью, сводного брата моего отца. Она умерла в 1939 году от, как тогда говорили, «грудной жабы». Меня показывали ей, когда она приезжала к Сперанским на дачу в 1938 году, но в моей памяти она не осталась. Туся Овчинникова, которой в ту пору было около 16 лет, со свойственным юности радикализмом, не захотела примириться с новым замужеством матери, считая это предательством по отношению к памяти горячо любимого ею отца. К этому времени ее тетка, старшая сестра Натальи Романовны Татьяна, вместе с овдовевшей матерью Таисией Ивановной Живаго уже много лет жили в Неаполе, где муж Татьяны, ихтиолог Рейнхард Дорн, был директором знаменитой зоологической станции и морского аквариума. И Туся уехала в Италию к бабушке и тете. Всю жизнь она провела за границей, училась живописи, вышла замуж, разводилась... Последние тридцать лет она проработала редактором на радиостанции «Свобода» в Мюнхене и впервые посетила Россию и увидела своих московских родственников в возрасте 79 лет в начале «перестройки», в 1991 году. Спустя три года она скончалась.



Имение Живаго Новое в Клинском уезде Московской губернии



Наталья Романовна с Адрианом на верхнем балконе дома в Новом, 1916



Наталья Алексеевна Овчинникова-Бергхауз, Италия, 1936

Адриан своего отца практически не знал. Я тем более никогда не видел своего деда, поэтому мне кажутся удивительными те генетически переданные сыну свойства характера и интересы Алексея Михайловича, часть из которых унаследовали от деда отец и я. Об увлечениях и характере моего деда я имею возможность судить по уже многократно упомянутым воспоминаниям его воспитателя и друга Владимира Александровича Попова. Отца я отлично помню, хотя прожили мы с ним вместе не так уж долго. А о собственных характерологических особенностях мне помогает судить моя супруга Лариса, человек сугубо трезвого и объективного ума.

Начну с общих увлечений. Их не столь уж много, но они прошли через всю короткую жизнь деда, молодость отца, так же укороченную роковыми военными обстоятельствами, и мою юность. В первую очередь – это увлечение охотой. Начиная с пятнадцатилетнего возраста и до начала Первой мировой войны охота и все, что с ней связано – ружья, снаряжение, собаки, – были основным интересом Алексея Овчинникова-старшего. На эту тему он мог говорить бесконечно. Вполне естественно, что и писатели, воспевающие охоту и дикую природу, были его любимыми, а самым любимым – Джек Лондон. «Этот суровый писатель с нежной душой, писавший о том, что жизнь есть борьба; что только тот побеждает в этой борьбе, кто закалит свою душу и тело для победы и будет стремиться к свободе духа и тела

от условностей жизни, – этот певец борьбы за жизнь именно потому стал любимым писателем Алеши, что... сам Алеша был таким, каковы у Джека Лондона были все его герои – борцы за жизнь, суровые внешне, ласковые и нежные в тайниках своей души, честные, прямые и настойчивые в путях своих к цели, намеченной ими...» Так объясняет В. А. Попов литературные склонности своего воспитанника.



Алексей на охоте с дядей Колей



Алексей на мотоцикле

Охота и, конечно, Джек Лондон, с его романтикой суровой жизни, сильными духом и телом героями, были длительным увлечением Адриана, несомненно попавшего под влияние друзей Алексея Михайловича, помнивших и любивших его. Ну, а мне эта же страсть была передана отцом, подарившим мне первое ружье – «духовушку» к моему десятилетию и научившему меня стрелять в цель. А что касается Джека Лондона, то мне досталось в наследство полное собрание его сочинений – приложение к журналу «Всемирный следопыт» 1930 года – настоящее сокровище для мальчика, бредившего охотой и приключениями. Другой наследственной страстью были автомобили и моторные лодки. Об этой стороне увлечений моего деда я уже упоминал выше. Для нас же с отцом этот интерес всегда был неослабеваем. Благодаря моему другому деду – Сперанскому, имевшему собственную «эмку» еще до войны, отец научился управлять автомобилем уже в молодом возрасте и потом, вернувшись с фронта, передал это увлечение и мне, семилетнему мальчишке, которого он сажал к себе на колени и давал порулить автомобилем по проселочной дороге. Автомобили остались нашей страстью до старости. Мы также увлекались моторными лодками, хотя последние в нашей семье были весьма примитивными – с подвесным мотором «Москва» или «Вихрь». Однако мы с отцом всю жизнь мечтали построить настоящий моторный катер. Отец в течение многих лет, уже проживая отдельно от нас, регулярно покупал все номера журнала «Катера и яхты» в двух экземплярах и отсылал один из них мне. Поэтому теоретически мы были отлично подкованы в водно-моторном спорте, хотя до настоящего катера дело так и не дошло.



Наталья Романовна с Адрианом, 1937

Что касается общих черт характера, дело обстоит сложнее. Начну с воспоминаний Владимира Александровича Попова: «Когда в моей памяти встает облик Алеши, я вижу его таким, каким помню в последние годы, когда он стал законченным в своем духовном развитии. Из всех свойств его внутреннего “я” в нем больше всего поражала необыкновенная воля. Она не выражалась в бурной энергии, но ковалась в упорной работе над самим собой, в труде, который вел его к намеченной цели. Препятствия на этом пути не пугали его: он разрушал их медленным, постепенным трудом... Другой чертой было отсутствие в его мышлении и поступках пошлости, обыденности – всего того, что обезличивает человека и сливает

его с безликой толпой. Алеша был всегда выше толпы. Он не любил ходячих слов, суждений, мнений. Многим он, быть может, казался неприятен тем, что всегда сохранял свое собственное лицо. Он никогда не придавал большого значения материальным средствам, и они не были для него, как для многих других, самоцелью; он смотрел на них как на большую или меньшую возможность удовлетворить свои потребности, в первую голову те, которые были менее всего пошлы. Никогда он не любил “бросать пыль в глаза” и показывать, что его собственное материальное благосостояние стоит выше кого-нибудь другого. Во внешней обстановке своей жизни он не любил роскоши, и его идеалом во внешности был на первом месте “комфорт”, а потом уже красота. Он мог и умел удовлетворяться самым малым. Эта скромность была одной из сторон силы его духа и не позволяла ему навязывать никому свое мнение. Он имел это “свое мнение”... он мог бороться за него и боролся, когда знал, что не может переменить его... Те, кто, как он, умел уважать чужое мнение и другую волю, уважали его и шли к нему, делаясь друзьями... Алеша был борцом за жизнь, и мне кажется, что он победил бы ее, если бы случаю не угодно было так жестоко кончить эту борьбу в самом начале...»

Мой отец был, конечно, другим человеком, более эмоциональным, более «артистичным». Здесь, возможно, сказались наследственные черты характера матери – художницы. Но способность к повседневному труду, твердость воли, с которой он шел к намеченной цели, индивидуализм и наличие собственного мнения по основным жизненным вопросам – этого у отца отнять невозможно. О себе судить трудно, но способность, когда нужно, «приклеиться к стулу», по выражению моей супруги, выполнить необходимую работу и хоть немного приблизиться к намеченной цели – эти свойства моего характера, как мне кажется, можно назвать генетически обусловленными.

Н. С. Смирнова Дневник гимназиста

С фотографии на меня внимательно смотрит мальчик, очень серьезный и милый. Мальчику пятнадцать лет. Он гимназист – на нем форменная курточка, наверное, серого мышинного цвета. Фотография пожелтела от времени, она сделана в 1886 году. Я пытаюсь найти фамильные черты и в более поздних его фотографиях. Мне интересно представить, как он говорил, что читал, как учился, какой у него был тембр голоса. Я никогда его не видела, а он никогда не узнает о моем существовании. Отцом моего отца он станет в 1909 году.



Руф Яковлевич Смирнов, ученик гимназии

Счастье, что сохранились сведения о моем прапрадеде. Звали его Ржаницын Руф Александрович (1818–1879), священник Николоваганьковской церкви, протоиерей, у которого было тринадцать человек детей. В живых осталось восемь, среди которых Мария Руфовна, мать моего деда. Из этих восьми детей ни один не пошел по стопам отца, зато среди них были врачи, учителя и чиновники. Но эта не та история, о которой я хотела бы рассказать. Проходя теперь мимо Румянцевского музея (самое старое здание Ленинской библиотеки), я знаю, что в сохранившейся в его дворе красавице-церкви служил мой прапрадед. Служил настолько хорошо, что епархия после его смерти издала некролог отдельной книжицей, которая чудом сохранилась в семье. Начало некролога поражает искренностью, незатертостью и незабитостью слов, выбранных для прощания: «В ночь на двадцать пятое число января текущего года (1879) скончался один из ревностных пастырей, редкий по своим душевным качествам, отец протоиерей Московской Николоваганьковской церкви Руф Александрович

Ржаницын. От природы больной и слабого телосложения, этот поистине деятель непостыдный на ниве Божии, всю жизнь свою провел в постоянных трудах, заботах и лишениях, но при всех обстоятельствах его трудной и разнообразной деятельности сила Божия видимо совершалась в немощах его».

Мальчик с фотографии, внук священника, вырастет, выучится на врача, пройдет фронты русско-японской, Первой мировой и Гражданской войн, примет активное участие в земском движении, будет избран в Курске членом Государственной думы второго созыва от партии социал-демократов. Он будет дважды женат, и у него будет трое детей – один мальчик, мой отец, и две девочки. Не станет его в 1919 году по причине абсолютно банальной для тех лет – его унесет тиф. Это мой дед, Смирнов Руф Яковлевич, 1873 года рождения.



Руф Александрович Ржаницын

В нашей семье сохранился его дневник, он начал вести его в 1886 году, а закончил в 1888-м. Известно, что он заикался. Это важно потому, что дневник написан мальчиком, которому, наверное, трудно было говорить – «комплексы», как бы мы сказали теперь. Отсюда

и стиль записей, отражающий особенности разговорной речи. О том, что он заикается, я узнала совершенно случайно, прочитав надпись на обороте его фотографии, сделанную его сестрой много позже. Растет он в дружной большой семье, у него два брата и две сестры – Сергей, Андрей, Анастасия и Мария. Их отец, Яков Смирнов, приехал из Вологды и женился в возрасте тридцати пяти лет на шестнадцатилетней Ржаницыной Марии Руфовне, дочери священника. Яков Смирнов был бедным чиновником и умер через семь лет после женитьбы, оставив совсем молодую вдову с пятью детьми. Отца уже нет, еще жива молодая и властная мать, воспитывающая пятерых детей, а после смерти Анастасии от чахотки – четверых. Материально помогает семье брат матери Алексей Руфович Ржаницын, удачно и по любви женившийся на дочери текстильного фабриканта.



Руф Александрович Ржаницын с супругой Марией Семеновной



Родители Руфа Яковлевича Смирнова: Мария Руфовна Смирнова (Ржаницына) и Яков Смирнов

Дед мой, Руф Яковлевич Смирнов, был членом социал-демократической партии и находился в оппозиции к царскому режиму, что не помешало ему окончить медицинский факультет Московского университета в 1896 году, а гимназию он закончил с серебряной медалью. По странному стечению обстоятельств я работаю теперь в том же здании университета в центре Москвы на Моховой, в котором учился мой дед. Царь-батюшка в 1907 году сослал члена разогнанной II Государственной думы сначала под Воронеж, где в слободе Бутурлиновка и родился мой отец, считавший себя коренным москвичом, а затем в Торжок, где дед основал земскую больницу. В местном краеведческом музее о нем и его родной сестре, Марии Яковлевне Смирновой, хранится благодарная память. Мария Яковлевна стала врачом-гинекологом, выучившись в Германии на деньги богатого дяди, и стала в советское уже время первым заслуженным врачом тогда Калининской, а теперь снова Тверской обла-

сти. Тогда была редкая вещь – женщина-врач с высшим образованием. Его братья Сергей и Андрей следуют за братом всюду, или он их за собой таскает, как и сестру, кстати. Андрей преподавал музыку, а Сергей рисование. Когда их не стало и где они похоронены, я не знаю. Папа мой об этом как-то не говорил, но дядя Сережа упоминается в одном из его писем середины двадцатых годов. В 1914 году дед ушел на фронт, провоевав до конца войны, окончание которой застало его в Курске, где он и умер от тифа в 1919 году сорока шести лет от роду, будучи заместителем главного врача военного госпиталя.

Но еще задолго до этих печальных событий после смерти первой своей жены от родильной горячки, как это тогда называлось, мой папа стал сиротой, когда ему не было и года, дед женился на своей первой любви, Орловой Надежде Ивановне.

Это отдельная история. Молодым человеком он влюбился в дочь своего старшего коллеги, тоже врача. Постеснявшись объяснить в любви лично, он попросил своего товарища передать письмо с предложением руки и сердца. Тот благополучно забыл передать письмо или намеренно не сделал этого, и, не получив никакого ответа, дед в отчаянии поехал на русско-японскую войну, где и встретил мать моего отца, свою первую жену, Анну Федоровну Грунке. Она, судя по всему, туда отправилась тоже зализывать душевные раны, а может, обоим их судьба в патриотическом порыве послала навстречу друг другу. Отец Анны Федоровны – немец, притащивший семью с пятью дочками в Россию во второй половине девятнадцатого века. Моей родной бабушки не стало, а ее сестры после революции оказались все в Европе. Одна из них жила во Франции и принимала со своей дочерью активное участие в Соппротивлении. Их жизнь – история отдельная.



Руф Яковлевич Смирнов во время депутатства во II Государственной думе



Мария Яковлевна Смирнова, сестра деда

После смерти первой жены Руф Яковлевич возобновил отношения с Надеждой Ивановной Орловой. Они поженились в 1911 году, а годом позже у них появилась дочь. Надежда Ивановна была очень хорошим и добрым человеком, я ее хорошо помню. Она стала приемной матерью моему отцу и его сестре. Надежда Ивановна была дочерью Ивана Ивановича Орлова, приятеля Антона Павловича Чехова, для которого он оформлял по доверенности купчую на его ялтинский дом. Многие потом пеняли ему, что место выбрано неудачно, да и стоять он мог меньше уплаченной суммы. Иван Иванович Орлов был лечащим врачом семьи Блоков в Шахматове и недалеко их соседей Менделеевых. Братом Надежды Ивановны был Василий Иванович Орлов, побывавший на каторге и вызволенный оттуда революционными событиями 1917 года. Он был членом общества политкаторжан и умер в самом конце Второй мировой войны, проведя годы эвакуации в Елабуге.



Руф Яковлевич Смирнов на фронте Первой мировой войны



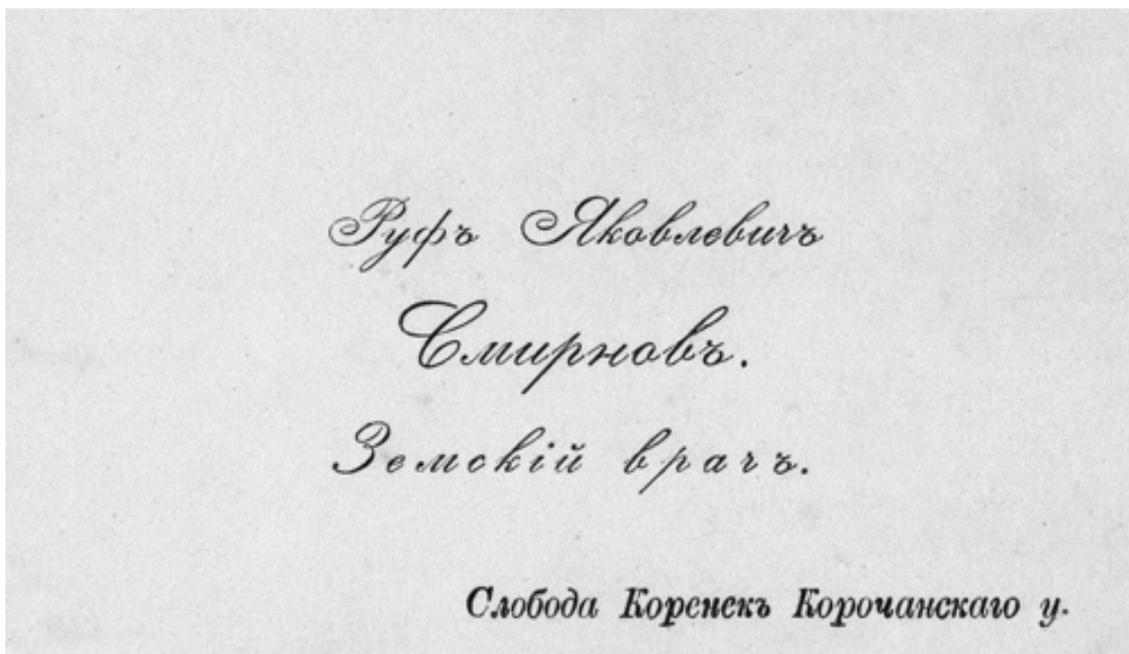
Надежда Ивановна Смирнова (Орлова), вторая жена деда

Я с интересом разглядываю фотографии, сделанные дедом в полевых условиях в Мукдене, Порт-Артуре в 1904–1905 годах и, позже, на фронтах Первой мировой войны. Фотографии уже коричневого цвета, совсем в дымке, сделаны они на мягкой гибкой бумаге, их у нас сохранилось около шестидесяти. Полк в походе, училище фельдшеров, которых готовил мой дед, полевой госпиталь, раненые солдаты, похороны погибших солдат, старый китаец с косицей на спине, просто пейзажи реки Амур и много еще чего. Смотришь на них, и оживает история, становясь не абстрактными рассказами официального учебника, а приближенная настолько, что кажется, что и ты там был, и это твоя история и жизнь.



Дед и бабушка сразу после свадьбы в 1906 году: Руф Яковлевич Смирнов и Анна Федоровна Смирнова (Грунке)

Я, честно говоря, взяла без разрешения эти фотографии у тетки, когда она была уже совсем слаба. Она попросила что-то достать из ящика письменного стола, и в глубине я увидела связанные ленточкой фотографии. Бросив взгляд на верхнюю из них, я поняла, что дурная сохранность не уменьшает их ценности. Правильно я сделала, потому что мой кузен после ее ухода в мир иной благополучно все выбросил в тот же день. Он просто вынес на помойку целый комод, где хранились семейные документы и письма. А ведь я просила этого не делать. Всем совет: если хотите что-нибудь сохранить, берите и сохраняйте. И задавайте вопросы. Теперь можно только сетовать, что я их задавала мало.



Руф Яковлевич Смирнов, земский врач. Слобода Коренск Корочанского уезда

После смерти деда от тифа в 1919 году нужно было решать, как быть с детьми, и Надежда Ивановна оказалась в тяжеленные годы послереволюционной разрухи в Курске полной неумехой, одна с тремя детьми на руках. После сложной и долгой переписки было решено послать детей в Торжок к незамужней сестре деда Марии Яковлевне, где та работала в больнице. Сначала речь шла об одном из детей, но потом было решено не разделять сестру и брата. С 1920 года они оказались под покровительством родной тетки и ее подруги, фельдшерицы той же больницы Натальи Николаевны Щепотьевой, взявшей на себя в основном заботы о детях. Натальей меня назвали в ее честь. Позднее тетя Лида без особой радости рассказывала, что ей, совсем маленькой девочке, приходилось топить русскую печь, а папа в Курске за стакан козьего молока для младшей сестры Верочки пас целый день козу.



Слобода Бутурлиновка

Курск в 1919 году занимали то белые, то красные. Руф Яковлевич Смирнов, мой дед, был заместителем начальника военного госпиталя. Счастье, да простит меня Господь, что он умер от тифа тогда, когда в городе были красные, и папа в анкетах с полным на то основанием писал: «Отец в годы Гражданской войны состоял в рядах Красной армии». Воюя на империалистической войне, дед каждый день писал письма домой своей жене и детям. Коробка с письмами пропала при странных обстоятельствах. Она была «конфискована» дочерью комиссара госпиталя, которую тоже звали Лидой, как сестру отца. Тетя Лида побоялась сказать об этом даже взрослым и горевала о тех письмах всю жизнь безмерно. В них описывалась война без прикрас, без внутренней цензуры, без оговорок на то, что они адресованы маленькой девочке. Из того, что дошло до меня, осталось всего две открытки, которые дед писал жене с фронта.



Руф Яковлевич Смирнов (стоит), Мария Яковлевна Смирнова (сидит справа)

«19.06.1917 Открытка. Московская губ., Покровское-Алабино, дер. Корнево, имение Королевых, дача Дунаевых. Надежде Ивановне Смирновой.

Сейчас я встал в 79-м госпитале до 10-ти выяснить свой квартирный вопрос. Я переселился из номера к товарищу молодому и сейчас живу с ним в его чудесной комнате на краю города с окном, выходящим в сад: розы прямо глядят в окно. Пошел ливень, и я занялся письмом тебе. Чем больше вхожу здесь в работу, тем становится интереснее, и лишь нравится запрет на такт, энергию и смелость, которая представляет эта работа. Сплелся удивительно запутанный узел из различных взаимоотношений, порожденный революцией и различных групп. Распутывать его очень интересно. И сама непосредственная работа в настоящий момент тоже очень интересна. Твоих писем нет никакой возможности пока мне получить, пока не написать мне по новому адресу.

Руф».



Верхний ряд слева направо: Сергей и Лидия Смирновы

Примерно в то же время Надежда Ивановна пишет письмо своей матери. Атмосфера тревоги и нестабильности читается в каждом слове:

«Милая мамочка! У нас все здоровы. Хотя идут неистовые дожди, но здесь песок, и если нет дождя, то ходим без галош. Дети много капризничают от дурной погоды, но если их не пускать наверх, то там мило и спокойно. Да, кажется, погода хочет начать исправляться. Твоя Надя. От Руфа Яковлевича никаких писем. Газетные известия очень волнуют».

А вот еще письмо, которое написано матерью Надежды Ивановны в ответ на ее письмо, в котором она пишет о смерти Руфа Яковлевича.

«08.05.1919

Милая Надя! Получила твое заказное письмо. Неужели оно было послано в марте? Значит, шло больше месяца. Бедная ты моя! Как все ужасно! Знаешь, мне все как-то не верится, что это произошло. Когда я читала твое письмо, у меня под сознанием все время шевелилась какая-то глупая мысль, а вдруг благополучие кончилось.

Я не знала про предсказания. Право, не знаю, что и думать. Ведь, казалось бы, глупо верить, а между тем факты все время опровергают скептицизм. И Руфу Яковлевичу было предсказание, что 47-й год роковой? И знаешь, тут Сумароковы, я им про тебя говорила. Зашел разговор о хиромантии, и она говорит, что все, что ей наговорили по руке, сбывается. Я спрашиваю: «И теперешний переворот в вашей жизни?» (Они ведь живут ужасно!) «О, да!» – говорит она».

Дневник дедушки-гимназиста отдала мне старшая сестра моего отца, Лидия Руфовна. Несколько лет назад я ввела текст дневника в компьютер. Время у меня это заняло не очень

много, но трудно было разбирать почерк совсем не знакомого мне человека. По мере того как работа продвигалась вперед, я привыкла к этому мальчику, он мне стал очень интересен и близок. Мой папа, который родился в 1909 году, его почти не помнил и не мог ничего рассказать, или не хотел, или боялся. Не знаю. Я знакомилась с очень неординарным человеком, жизнь которого состоится потом. До 1919 года он проживет еще двадцать один год, сколько он успеет сделать!

А дневник очень интересный. Жизнь изо дня в день. Иногда подробнейшее описание происходящего, иногда отговорки о нежелании писать. Поток времени в словах, оставшихся на бумаге. Упоминаемые И. С. Тургенев, И. А. Гончаров, Чарлз Диккенс – его современники. Гимназические будни, приятели, отношения в семье, детские игры (не всегда невинные), летний отдых на даче под Москвой, рыбная ловля. Тут студенческие волнения, покушение на государя императора, сердечные тайны, мечты о будущем. Тут и тексты контрольных работ, которые очень похожи на сегодняшние, и отзывы о прочитанных книгах, и характеристики учителей, и душевные метания. Обычный мальчик с обычными амбициями. Интересно, что они были почти ровесниками с В. И. Ульяновым (Лениным). Очень много похожего – одно время, одна страна, среда немного другая, но та же модель многодетной семьи без отца, рано ушедшего. Результат разный.

Меня все время мучает одна мысль. Что мы за поколение такое детей, родив – шихся после Второй мировой войны? Те, кто вырастет сегодня, другие, более циничные, более свободные и раскрепощенные во многих отношениях. Они едва ли поймут природу страха в обществе, которое сформировало и подчинило себе поколение их бабушек и дедушек. Родителям их повезло больше, молодость их пришлось на шестидесятые.

Наши деды, да и чьи-то бабушки не упокоены по-христиански. Мой дед зарыт в общей братской, засыпанной негашеной известью могиле, как хоронили тифозных больных. Место захоронения неизвестно. У многих дедушки и бабушки исчезли безвозвратно в молохе революционных событий и дальнейших жутких лет, став жертвами режима. Интеллигенция, рабочие, крестьяне, духовенство – не важно! Время их не пожалело. Сколько же мы потеряли! Сколько нам не было рассказано сказок, не показано фотографий, не прочитано книг! Сколько семейных историй ушло вместе с ними! Сколько нитей и связей прервалось!

Ценность отдельной человеческой жизни, ее неповторимость, память поколений – вот о чем думаешь, перелистывая чудом сохранившиеся старые документы и письма.

И все-таки интерес к сохранившимся семейным архивам в последнее время возрождается. Надеюсь, что эта книга побудит читателей к поискам сохранившихся писем и документов на антресолях, в чемоданах, пыльных папках... Кроме вас этого не сделает никто!

ДНЕВНИК

1886 год

20 декабря 1886. Суббота

Сегодня нас распустили на праздники. Уроков задали очень мало, почти что ничего, потому что нас классный наставник Василий Филатович Никифоров просил об этом учителей, так как мы хорошо учились в продолжение полугодия. После последнего урока к нам в V класс пришел инспектор Александр Николаевич Шварц. В своей речи он выразил благодарность нам и нашему классному наставнику и даже пожал последнему руку. Василий Филатович посоветовал нам не учиться совсем в продолжение праздников и отдохнуть.

В нашем классе сегодня случилась порядочная история. Сосед мой Павлов, с которым я учился в прогимназии, любил подсмеиваться над другими. Он назвал Мамонтова, самого сильного из нас, рогатым скотом, потому что у него на лбу были шишки. Тот ударил его по лицу. Вас. Фил. спросил на лат. языке Павлова, почему у него покраснела щека, он не желал

выдать товарища, не сказал. Но Мамонтов сам встал и сказал, что ударил Павлова, тогда и Палов сказал, что он назвал его скотом. Вас. Фед. велел Мамонтову извиниться перед Павловым. Так дело и кончилось. Вечером дома читал «Путешествие к центру Земли» Жюль Верна. Эта книга показалась мне довольно интересной и побудила меня изучать минералогию. Я по указаниям «Видимый мир» сделал соленую воду, процедил ее и поставил на гардероб, прикрывши Атласом Иордана. С тех пор я решил не смотреть ее до Рождества, хотя и сомневался в удаче, так как пыль могла попасть туда, и я налил воду в глубокую тарелку, и потом кристаллы должны были получиться маленькие.

21 декабря. Воскресенье

Я проспал приблизительно до 11 часов. Потом убрал все свои учебные и не учебные книги. Вечером мамаша привезла нам три книги. Самая лучшая из них, на которой я пишу сейчас. Потом мы хотели сделать репетицию первого и второго явления первого действия «Ревизора». Но она не удалась, потому что нам мешала сестра, да и мы не были расположены к этому. Затем стали петь. Мамаша и старший мой брат 16 лет стали разучивать «Бог войны» в 4 руки. В продолжении дня фехтовались несколько раз выструганными лучинками.

22 декабря. Понедельник

Сегодня день Ангела старшей моей сестры. Я прочел две книги «Случайный начальник», сочинение Эмара, и первую и вторую часть «Обломова» Гончарова. «Случайный начальник» показался мне не очень интересным в сравнении с другими книгами этого же автора, где действие происходит в Америке, и это, кажется, потому, что я пристрастился к Америке еще раньше, читая Купера, Майн Рида, Жюль Верна и Эмара. И я теперь читаю с большим удовольствием сочинения этих авторов, чем лучших авторов русских, например Гончарова, Пушкина. За чтением этих книг отдыхаю. Вечером я не утерпел и посмотрел на свою соленую воду: она вся покрылась пылью, а на полях тарелки была соль, совсем не похожая на кубы и на обыкновенную соль.

23 декабря. Вторник

Мамаша с утра уехала в город за покупками. Я немного прочел из «Мещан» Писемского. К утру приехала мамаша, привезла большую книгу меньшему брату, гостинцы на Рождество и игрушки для Феди, Коли, Лизы, детей моего дяди Алексея Руфовича Ржаницына, учителя русскому языку московской 2-й прогимназии, где я учился до поступления в 1-ю прогимназию. Потом мамаша легла отдыхать, а я пошел с сестрой в библиотеку. Я взял продолжение «Случайного начальника», «Буйную жизнь» и «Миссурийские разбойники». Вечером я прочел «Буйную жизнь». У нас столовую перенесли из маминой спальни в Настину комнату (старшей сестры).

24 декабря. Среда

Последние два дня перед Рождеством мы ели постное. Нынче с утра у нас была уборка. Я после чаю дочитал «Миссурийские разбойники». Мамаша пошла за дровами, а мы все пили чай в нашей комнате, потому что в других комнатах мыли полы. Мы, то есть я, старший брат Сережа, младший брат Андрюша и две сестры, стали советоваться, что подарить мамаше на Рождество. Сестра предлагала купить цветок, я – корзину с клумбою цветов, старший брат – пирожное и цветов. Мы решились на последнее. Сестра, когда мамаша пришла, попросила у ней денег, как будто бы на ложу в театре, а сама купила пару ландышей, то есть не ландышей (ее обманули), а каких-то других цветов. После Всенощной, когда все собрались чай пить, мы поставили их перед самоваром, мамаша сначала их не заметила, а потом

уж, через несколько времени, заметила. Кроме того, она купила еще две колоды карт. После чаю я немного почитал из «Вольных стрелков».

25 декабря. Четверг. Рождество Христово

Я проснулся довольно поздно, выпил только одну чашку чаю. К обеду мы пришли поздно, к Херувимской. Выстояв половину обедни и молебен с коленопреклонением, мы пришли домой. После чего я дочитал «Вольных стрелков». Эта книга показалась мне такой интересной, что я решил прочесть всю серию, к которой она принадлежала: «Арканзасские охотники», «Пограничные бродяги», «Благородное сердце». Мне было весьма скучно, я не знал, за что приняться. Наконец, я стал фехтоваться против брата Андрюши и младшей сестры. Потом пришел к нам старший брат. Тогда мы разделились: я с младшим братом против старшего брата и младшей сестры. Но я попал младшей сестре в горло и оцарапал его, из-за этого у нас все рассорились. Вечером мамаша с Сережей и Настей уехали к дяде Лене, как мы его звали. А мы втроем остались и проиграли весь вечер в карты. Нам на вечер оставили гостинцев. <...>

30 декабря. Вторник

После утреннего чаю я дописал слова по Саллюстию. Потом к нам пришли мои тетки. Клавдия сперва, а потом Дуня. Я прочел половину «Лагеря язычников» Ф. Купера, потом вышел гулять вместе с братом. Погулявши, пили чай, обедали, вечером читал «За драгоценным корнем» в Ниве 1855 года.

31 декабря. Среда

Я встал в одиннадцатом часу. Напившись чаю и съевши две котлеты. Мы: я, брат Сережа и Настя, отправились в Большой театр на оперу «Аскольдова могила». По дороге у Игнатова купили пяток яблок за 15 копеек. Мамаша наша велела надеть башлыки, я был очень недоволен. Мы наняли извозчика за 20 копеек. Но в конце дороги у его лошади сломалась подкова, и мы слезли и пошли пешком. Мне понравились декорации на первом действии. Днепр утром. На втором Днепр ночью при свете луны. Очень хорошо исполнил свою роль бандуриста, гудовщика Топорка, Голован – господин Додонов. Мне понравился еще незнакомец, господин Белявский. После третьего действия мы принесли пальто на место: в третий ряд галерки у входа №№ 133, 134, 135. Когда мы пришли домой, наелись арахиса и подсолнухов, которые мы в полчаса уничтожили. После вечернего чаю я надел папашин халат, вымазал себе лицо сажей, надел башлык, взял кочергу и вышел. Меня все стали колотить по «зы». Мы пропели «Боже, царя храни», «Славься», «Гой, ты Днепр» и легли спать. Мне понравилась песня «Близко к городу Славянску».

1887 год

1 января 1887 года. Четверг

За обедней меня убедило то, что молебен был без коленопреклонения, как всегда. После чаю пришла тетка нашей кухарки и принесла пирожного, с которого меня чуть не стошнило. Мамаша сказала, что если она еще хоть что-нибудь принесет, то она не примет. Я взял одну палочку *kalu hypermarganicum* и помазал себе под губую, как будто бы кровь, потом насилу отмыл, и то не совсем. Потом я, Сережа и мамаша поехали к «Кресенькой». А потом мамаша хотела отправить нас домой, но извозчики брали 40 копеек от Дорогомиловского моста до острога. И мы пошли к бабушке <...>

Арабская лошадь (исправленное)

Араб Аравии гордится

Своею лошадью всегда:
Без ней не мог бы поживиться
Чужим добром он никогда.
Ея красоты восхвалять
В различных песнях и стихах
Она с ним вместе отдыхает
Труды опасности делить.
Когда ж ее он призывает,
На всех порах к нему летит.
За грех продать ее считает,
Когда в пустынях и степях
Он караваны выжидает
В оврагах с племенем своим.
Потом внезапно нападает
И не дает дороги им.

В прежнем виде 1883 г. Мне 11 лет

Араб Аравии гордится своею лошадью всегда.
Без ней не мог бы поживиться
Чужим добром он никогда.
Ее он очень уважает (любит),
И без него не мог бы жить.
Из-за нее дать не желает
Родных и собственную жизнь.
Когда же путник Европейский
Вблизи жилища проезжал,
Тогда он с умыслом злодейским
На Европейцев нападал. <...>

7 января. Среда

Сегодня мой день рожденья. Мне исполнилось 15 лет. После Рождества в первый раз иду в гимназию. Первый урок немецкий, у немца я получил 5. Василий Филатович баллов не ставил. По истории никого не спрашивали. Григория Хрисанфовича Херсонского, «Тенорка», мы обманули, сказавши, что ничего не задано. Между тем как была задана формула пятинадцатиугольника. Он стал объяснять далее о площадях. За его объяснением можно было заснуть, хотя он объяснял отлично. Он очень часто повторял одно и то же. Когда за алгеброй он объяснял о символах с показателями дробными и отрицательными, мы с Павловым сочинили стих: «Энку на пеку, по ку сокращаем, берем вверх ногами и выйдет пеку в степени ку». Мамаша на рождение купила мне пирожного и сухарей. Мы их съели в один вечер, только на другой день немного осталось. <...>

12 февраля. Четверг

Сегодня последний день перед роспуском на Масленицу. Нынче же мы пойдем в театр. Из нашего класса выбрали 4 человека: Брюханова, Павлова, меня и Клумова. Шилов не пошел, потому что у него болела нога. Я и Павлов попали в Большой театр, Клумов и Брюханов – в Малый. По окончании уроков я не пошел домой, потому что в полчаса двенадцати

того мы должны выйти из гимназии. Я закусил двумя пирожками: один с творогом, другой с вареньем. По дороге в театр я купил афишу с «Рибреткой», по выражению продавца. Мы пришли рано, у нас в ложе было тесно. В соседней ложе оказалась вторая прогимназия. Я со всеми первоклассниками поздоровался. Здесь были: Дедерский, Некрасов и другие. Александрова только не было. Пришел Петр Иванович. Я его узнал только потому, что мне еще раньше Пуфа сказала, что он отрастил бороду. Он совершенно переменялся. В прошлом году с теми же первоклассниками и с Петром Ивановичем я смотрел «Русалку» в Большом. В первом действии мне понравилась застольная песня Бутенко, моего любимца, он играл Каспара. Во втором действии я с Павловым сидели в ложе второй прогимназии. В «волчьей долине» водопад я плохо разглядел. Ад, огненные шары, черти, водяные мне очень понравились. Бутенко здесь тоже отличился своим голосом. В антракте между вторым и третьим действием я с Павловым пошел в фойе, достал два яблока и выпил полстакана воды малиновой. Видел Розенблюма, встретил Терешковича. Когда мы с Павловым возвращались, кто-то сзади сказал: «Господин Павлов!» Оказалось, что это Сныткин. Вл. Л. удивился, какой он стал широкоплечий и говорит басом. Он рассказал о своем житье в 5-й гимназии, а мы о своем в первой прогимназии. Там Кольцов был первым, Оленштейн по математике получал двойки, потому что учитель математики не любил жидов. Он сказал, что Усачев с ним. Мы пошли к нему. Усачев остался таким же. Все это действие мы просидели у них в ложе. Один я дороги не знал, а Павлов не хотел идти. Наконец, к концу действия, я ушел от них и долго не мог найти своей ложи. Я боялся, что Ник. Алекс. рассердится на нас, но этого не было. Я отправился домой и непременно бы заблудился, если бы не встретил Васильева. Он повел меня другой дорогой. Мы догнали Покровского. При выходе из театра я встретил их соседа в 4-м классе, Рабиновича в очках.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.